МЫ

4/90

В ИТАЛИИ ПРОИГРАЛИ... КАК ВЫРАСТИТЬ ТЕХ, КТО ПОБЕДИТ.

Читайте беседу с Никитой СИМОНЯНОМ

ISSN 0236-3283

Главный редактор
Геннадий БУДНИКОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АБРАМОВ
Игорь АЧИЛЬДИЕВ
Альберт ЛИХАНОВ
Дмитрий МАМЛЕЕВ
Георгий ПРЯХИН
Григорий ТЕРЗИБАШЬЯНЦ
(заместитель главного редактора)

Главный художник
Валерий КРАСНОВСКИЙ

Технический редактор
Ольга ЛАЗАРЕВА

На первой обложке
фото Анатолия БОЧИНИНА

©"Мы". 1990
Издательство "Дом"
Советского детского фонда
имени В. И. Ленина
Адрес: 101963, Москва,
Армянский переулок, 11/2А.
Телефон: 923-66-62
ISSN 0236-3223

Отпечатано в типографии
А/О Принт-Юхтиё
Сонниприят Финляндия

Отпечатано в типографии
А/О Принт-Юхтиё
Сонниприят Финляндия
при посредничестве
В/О "Внешторгиздат"

Сдано в набор 03.07.90 г.
Подписано в печать 26.07.90 г.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,1.
Уч.-изд.л. 12,73. Тираж 1844000

4/90

МЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
СОВЕТСКОГО
ДЕТСКОГО ФОНДА
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

СОДЕРЖАНИЕ

Алина Чадаева. Зерно веры 2

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

Юрий Кириленко. Создатель. Повесть 10
Ян Флеминг. Операция "Гром". Роман.
Перевод с английского. Продолжение 58
Юрий Поройков. Гвоздь. Рассказ 99
Владимир Соколов. Дары. Стихи 56

ПРОБА ПЕРА

Глеб Золотарев. Последнее сафари.
Рассказ 158
Настя Дубинина. Детский день от нас ушел.
Стихи 88

ВЕЧНАЯ КНИГА

Вавилонская башня. Библейские легенды 144

О, СПОРТ, ТЫ ВЫЗОВ

Никита Симонян. Тогда считать мы стали раны 164

ТВОЙ СВЕРСТНИК ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Сергей Динов. В кольце 118
Ольга Лялина. Москва, Макдоналдс, доброе утро 172

Рок-энциклопедия 180
Илья Кормильцев. Я несу свой огонь 187

Тусовка 90

ЗЕРНО ВЕРЫ

Почти во всяком доме, деревенском или городском, на подоконниках стоят цветы. Посмотришь с улицы на такое окошко, и на душе потеплеет, словно перекинулся приветливым взглядом с кем-то добрым и прекрасным.

Что за обычай такой у людей: ввести в свой дом миниатюрное подобие сада? Да и сама идея сада откуда взялась? И отчего так неистребимо желание человека именно цветами украсить свою жизнь, часто скудную впечатлениями, протекающую между небом и землей, в многоэтажке... Человек, несущий в своих генах закодированный опыт предыдущих поколений, как бы постоянно помнит, какой была земля в древнейшие времена, когда ее называли Раем, или Эдемом. Люди не связывают свой быт с этими понятиями, но – вглядитесь: на вас платье с узором "в цветочек", ваши стены оклеены обоями "в цветочек", ваш абажур повторяет венчик цветка... А фарфоровая чашка, а росписи на ней? Вы, сами того не подозревая, пригласили к себе цветущий сад – идею Рая.

Природа – это Библия. Красота листа, травинки, цветка, дерева, пейзажа – это Божественная Истина, воплощенная, как говорили прежде, в "благорастворении воздухов", в ароматах, звуках, родственных мелодии, тончайших оттенках цвета и линии.

Царем Давидом, воспевшим Бога-Творца в песнях, называемых псалмами (а книга – Псалтирью), сочинен, а может быть, и переведен с более древних источников, псалом 103 о сотворении мира. Слово "сочинен" я употребляю здесь условно, по моему убеждению, Давиду БЫЛО ДАНО СВЫШЕ услышать эти мысли и воплотить их в слова. За что же и как восхвалял псалмопевец Давид Гос-

пода, сотворившего мир и все сущее в нем. "Ты одеяешься светом, яко ризою, простираешь небеса, как матер.., делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра.

...Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу... Насыщаются древа Господа, кедры Ливанские, которые Он насадил; на них гнездятся птицы... Он сотворил луну для УКАЗАНИЯ времен...

Как многочисленны дела Твои, Господи. Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих".

В Природе и в Священном Писании все вершится по одним законам. И как часто Иисус Христос в своих проповедях и притчах обращает взоры людей к сопоставлению Человека и мира Природы. Вот зерно горчичное, крошечное, но если посадить его в саду, вырастет и станет большим деревом, и птицы станут укрываться в ветвях его. Зерну, возросшему в дерево, уподобляет Господь и Царствие Божие, которое внутри нас должно взрасти от зерна веры.

ЗЕРНО ВЕРЫ – главный, любимый образ Иисуса Христа. Однажды он подробно рассказал, от чего же зависят всходы одинаковых зерен. От того, в какую почву упадут. "Иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его". Чуть позже Учитель объясняет ученикам своим суть притчи. "Семя есть Слово Божие; а упавшее при пути – это слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись". "Другое зерно упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги". "Это те, – поясняет Учитель, – которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но ко[illegible]рые не [illegible]т корня, и временем [illegible]руют, а во [illegible]мя искушения отпад[illegible]". Третье [illegible]но "упало между тер[illegible]ем", то есть [illegible]между сорняками, и сорняки заглуш[illegible] его всходы. "Это те, которые слуш[illegible] слово, но, отходя, заботами, бо[illegible]ом и наслаждениями жизненными [illegible]тавляются и не приносят плода". Вот что такое, оказывается, сорняки на полях – это метафора, образ нашей бездуховной суеты, излишнее попечение о благах быта, о стяжании вещей и денег! И, наконец, четвертое зерно "упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод сторичный". "Это те, – говорит Христос, – которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении".

"Святым Духом всяка душа живится", – поется на утреннем Богослужении. Иначе говоря, человек жив верою, это главное в нем. Но только ли человек?

Хочу напомнить вам два эпизода из Нового Завета, связанных с древом, называемым СМОКОВНИЦА. Мы с вами вряд ли его видели, так как растет смоковница в южных широтах и имеет еще одно название: фиговое дерево.

Итак, в Евангелии от Луки излагается притча, которую поведал Христос. "Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу перегноем – не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее".

Хозяин не хочет предать дерево топору, хоть оно и бесплодно, потому

Фото Василия МИШИНА

что не теряет надежды на жизненные силы смоковницы, да и сам собирается усилить о ней попечение, заботу. С точки зрения практической, хозяйственной вроде бы все просто: "Зане смокы плода не творит, и не будет рода в винограде", – писано было в толковании Евангелия в XI веке. Продолжения рода смоковницы не будет в этом саду, прежде называемом "виноградником". Какого же плода ждет Иисус Христос от людей, которым рассказывает эту притчу на все грядущие времена, в том числе и наши? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вчитаться в начало тринадцатой главы Евангелия от Луки.

К проповедовавшему в Палестине Учителю пришли люди, горько жалуясь на римского наместника Пилата, который жестоко расправился с жителями Галилеи, принесшими жертвы во время исполнения своего ритуала. "Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали?" И Сам отвечает: "Нет, говорю вам, но, ЕСЛИ НЕ ПОКАЕТЕСЬ, то ТАК ЖЕ ПОГИБНЕТЕ". Вот в чем главная мысль притчи о смоковнице: она должна принести ПЛОД ПОКАЯНИЯ. Господь терпеливо ждет от людей, принесут ли они Ему жертву Нового Завета. Не закланного тельца (теленка), как это было принято во времена до Рождества Христова, а нечто качественно иное: "Жертва Богу – дух сокрушен. Сердце, сокрушенно и смиренно, Бог не уничтожит". Так определяет суть покаяния пятидесятый псалом.

Что же это за великое таинство – ПОКАЯНИЕ? Горячее, искреннее желание очистить себя от скверны греха. Но что есть грех? – спросите вы. – Нас никто не учил этому понятию, в церкви мы, если и бываем, то ради любопытства, Священного Писания не читали, родители наши не крестили нас... *В Ветхом Завете сказано: грех это когда всякая плоть извратила путь свой на земле. Иначе говоря, когда жизнь наша подчинена игре страстей – любовных, политических и даже творческих, проявляющих себя не только в делах и увлечениях, но и в помыслах наших. Если у человека нет в душе раскаяния в делах и помышлениях, если вы оправдываете себя в любом поступке, или вообще не анализируете свои деяния, – не выбраться вам из плена тьмы и тьму только и будете источать вокруг себя.* Однако Господь даровал человеку Божественную интуицию, индикатор, которым можно распознать злое и доброе и отделить одно от другого. Поэтому прав был богослов Тертуллиан, сказав однажды: "Всякая душа по рожденню христианка. Ведь каждый из нас замыслен по Образу и Подобию Божьему, и Господь терпеливо ждет от нас духовного возвращения к своему первообразу. Но всегда ли мы возвращаемся к себе такому, какой замыслен был Богом?

Об этом – второй эпизод в Новом Завете Священного Писания, связанный все с той же смоковницей. Он рассказан в Евангелии от Марка.

Когда вместе с двенадцатию учениками Иисус Христос вышел из местечка Вифания, он взалкал, ощутил голод "и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ БЫЛО СОБИРАНИЯ СМОКВ. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек". Когда утром Христос с учениками проходил мимо этого дерева, Петр увидел смоковницу, еще вчера зеленую, нетронутой. "Посмотри, – сказал он Христу, – смоковница, которую ты проклял, засохла".

Русский святой Даниил Заточник отнес эти слова к себе: "Аз бо есмь яко она смоковница проклятая, не имея ПЛОДА ПОКАЯНИЮ". Вот какой плод не вызрел на смоковнице! Но мог ли вызреть, если в этом же тексте Евангелия говорится, что "не время было собирания смокв"? Требовать ли плода, если еще и цветения не было? – ГОСПОДЬ вправе требовать, ибо ВЕРА МОЖЕТ СОТВОРИТЬ ЧУДО. Но даже при виде Самого Христа не вызрел на смоковнице плод, не произошло чуда, и именно ЭТО ее бесплодие истощило терпение и ожидание Христа и вынудило обречь смоковницу на гибель. ПОКАЯНИЕ – ПЛОД ВЕРЫ. Пусть даже не сочный, не налившийся, не до конца созревший, а только еще проклюнувшийся.

В молитвах, которые читаются перед Святым Причащением, говорится: "Слезныя ми подаждь, Христе, капли, скверну сердца моего очищающия..." А далее, в другой молитве, молящийся просит, даже не слезы, но одну "каплю слезную", даже "капли часть некую", потому что в человеке важен сам помысел ужаснуться грехам своим.

Много людей следовало за Спасителем, когда он ходил и проповедовал на земле Палестинской. Евангелия свидетельствуют о том, как Христос исцелял больных, воскрешал мертвых. Вспомним историю о женщине, "которая страдала кровотечениями двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы". И вот, услышав об Иисусе, она в толпе подошла к Нему сзади и, коснувшись края Его одежды, тотчас исцелилась. "Вера твоя спасла тебя" – вот что сказал ей Христос. И только те исцелялись от Него, кто веровал в Него, ибо Сын Божий исцелял благодатной силой Духа Святого.

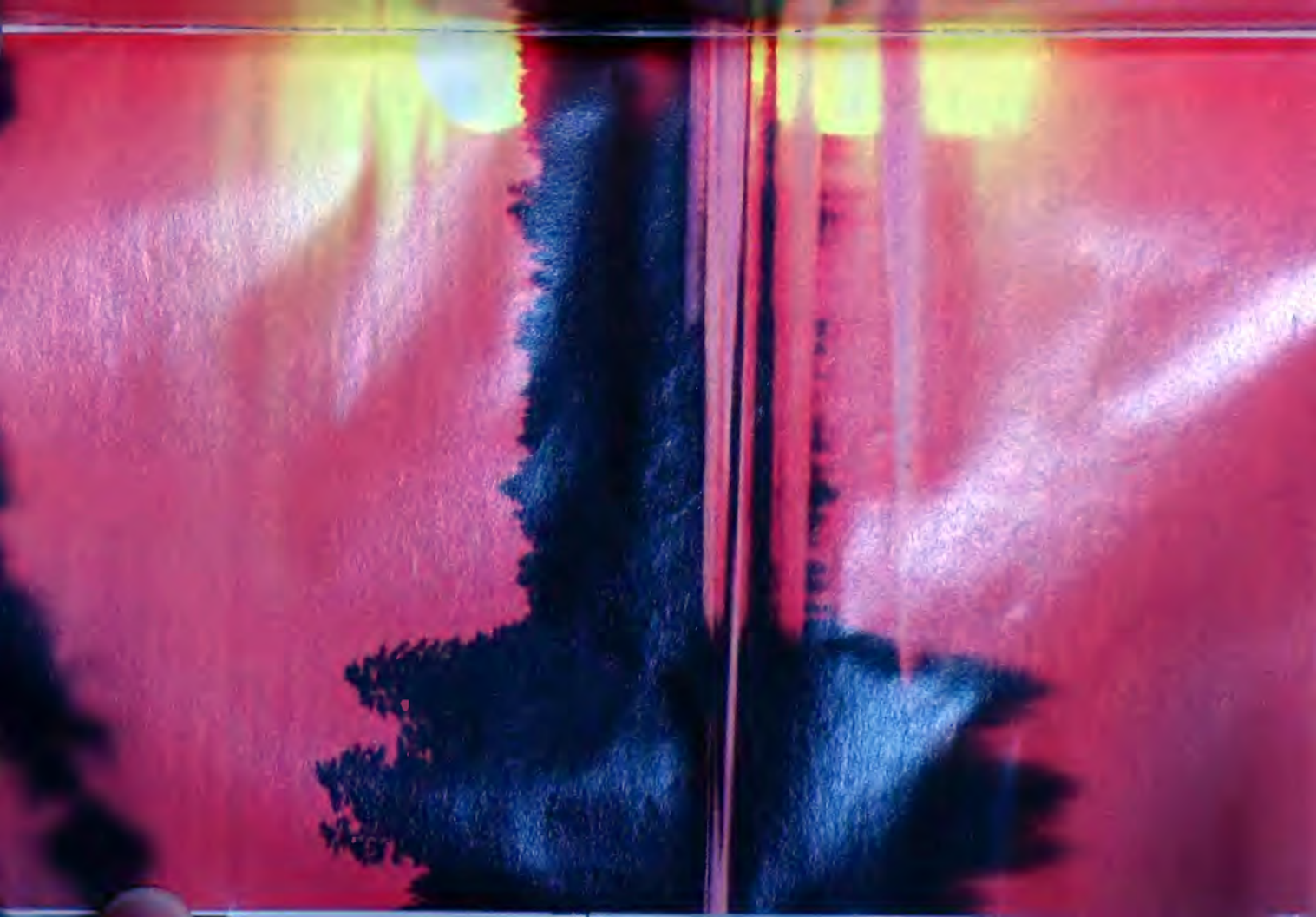
Последний вопрос нашей беседы, возникающий у пытливого читателя: почему все-таки смоковница, как вид плодового дерева, была избрана Христом для назидания людям? Дело в том, как мне представляется, еще одно значение слова смоква – плод смоковницы – очень важно для понимания этого эпизода. Смоква – еще и змея. Не значит ли это, что в самом названии дерева кроется зловещий отблеск ветхозаветного Змея, искусившего первую на земле женщину Еву запретным плодом гордыни, то есть антипокаяния? Было сказано Адаму в Раю, по свидетельству Книги Бытия: "От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь". Змей – Еву, Ева – Адама угостила плодом древа познания, то есть древа смерти – яблоком.

В летосчисление времен, в первом столетии от Рождества Христова, не бесплодной ли смоковницей обернулась ветхозаветная яблоня, вкусив от которой, первые люди самонадеянно потщились быть равными Богу?

Загляните в себя, посмотрите как бы со стороны: кто вы? кому причинили сегодня, вольно или невольно, зло? но, может быть, и доброе совершили, кому-то помогли, кого-то защитили или просто пожалели в душе, или хотя бы уберегли уста свои от скверного слова и осуждения?

Апостол Павел говорил, что человек – это храм Божий. Войдите в Храм, осмотритесь: там царит благоговейная тишина, молитвенно-трепетны огоньки свечей, лица людей светлы. И с любовью и надеждой взирают с икон прекрасные лики: Спасителя, Матери Его Марии, святых...

Алина ЧАДАЕВА



Юрий Кириленко
Совесть
ПОВЕСТЬ

Потом мне часто снилась белая дорога, широкая и пустынная, уходящая вверх, как трамплин. Я видел себя возле [illegible] автомобиля и свое взрослое лицо в профиль над поднятым воротником [illegible] плаща.

В каждом сне автомобиль уносил меня вверх на подъем, и я радостно знал, что там, за взлетом дороги, и смотрел вслед себе, пока машина не сливалась с дорогой, ослепительно белой, как [illegible].

I

Я помню, мне было скучно, и я нарисовал себе маленький остров.

Кажется, я был болен, давно, целый месяц, и весь месяц за окном была осень, дул ветер и падали без конца мокрые желтые листья.

Не выходя на улицу, я видел этот остров, весь по-осеннему просвечивающийся, умытый дождями и зябкий. Я так долго жил в нем, что знал его слишком хорошо, будто он был моей игрушечной собственностью.

Мои родители думали, что увлекаюсь географией, и покупали все атласы и карты, которые им только попадались, но я просто любил все страны, где еще не жил, и мне хотелось быть во всех странах и жить во всех городах мира одновременно. Я путешествовал мысленно по всем морям, и иногда мне казалось, что действительно знаю эти города и знаком со всеми людьми.

И мне хотелось их не знать, чтобы снова можно было познакомиться. Но я не мог никого забыть.

В мыслях я видел нарисованный мною остров сверху. Узкой коричневой полосой вдоль всего побережья я расположил на нем горы, зеленым нарисовал равнины, а голубым – реки, потому что ни один остров не может обходиться без реки или озера. А море вокруг острова было лазурным.

Я обозначил границы главного города, потом разместил деревушки, чтобы они не были очень удалены друг от друга и жители могли ходить друг к другу в гости. Я сделал острову удобную бухту, чтобы могли приставать корабли.

Подо мной лежал чистый и совсем новый остров, на котором не было ни одного человека. С высоты мне казалось, что там очень удобно и весело будет жить, и я поселил там людей.

Наверное, и в самом деле это был очень хороший остров, я любил всех, кто там жил, я знал их по именам, потому что сам придумывал их. Но потом я подумал, что когда-нибудь жителям надо будет открыть другую страну, свою собственную Америку, и стал рисовать для них материк.

Когда я сделал большую часть и рисовал притоки к широкой реке, мне показалось, что в моем мире происходит что-то не так, как я хотел. Я ничего не понимал, но вдруг испугался: "А может, это я виноват?"

"Что же я сделал для них плохо? – думал я уже в самолете, летевшем курсом на остров. – Может, что-нибудь забыл для них нарисовать? Вдруг им необходимо озеро или старинный замок? Но на этом острове не может быть ничего старого. Будет проще спросить у них самих", – решил я.

Мне было приятно чувствовать себя взрослым человеком, красивым в профиль, журналистом, так я буду называться на острове для удобства. Оказалось, что я, взрослый, знаю много разных вещей, которых не знал

13-летний, часто болеющий мальчишка, который нарисовал остров. Я уже смотрел на себя с уважением и все же с некоторой опаской: кто его знает, все же этот мальчишка был я. Я смотрел на облака и припоминал, как начался остров.

Сначала не было ничего. Сначала был я. Я был неизвестно откуда. Ел, спал, был вполне реальным человеком и в то же время был ниоткуда. Я просто был.

В главном городе я стал существовать, когда приземлился самолет. Жаркий ветер дул с западной части Острова. Когда я рисовал, то подумал, что там хорошо бы нарисовать пески. Они получились очень красивыми, но теперь из-за этого стояла переменчивая погода с неожиданным ветром.

– Ты удачно приехал, – сказал мне Президент. – Еще вчера лил дождь.

Президент Острова был моим другом. Впрочем, раньше он никогда не видел меня, просто знал, что мы друзья. Я с некоторой робостью смотрел на его грузную, неповоротливую фигуру и темные глаза, презрительно полуприкрытые тяжелыми веками.

В открытой машине Президента мы объехали город. Он был красивее, чем я представлял. Светлые улицы и такие же светлые, ухоженные люди.

Президент отрывал одну руку от руля и показывал то налево, то направо и коротко объяснял мне, что мы миновали.

Но все это я знал еще раньше него. Я знал это, когда Президент еще совсем не существовал, даже на этом Острове. Я знал, что в этом городе 100 тысяч человек, заводы снабжают остров всем необходимым, в порту стоят рыболовные суда.

– А как политическое положение? – спросил я.

– Спокойно, – сказал Президент. – Все довольны. Какая может быть оппозиция при здешнем климате? Иногда от скуки делают переворот.

– Когда был последний?

Президент отнял руку от руля и посчитал по пальцам:

– Три-четыре, три с половиной месяца назад.

– А потом?

– Потом опять по-старому. Надоест мне охотиться в горах, я возвращаюсь и выбиваю их из Президентского Дома.

Он отвернулся от меня и зевнул. А мне было смешно, как это все сложилось. Президент был нереальным человеком, я его выдумал, но он имел страну, власть, перевороты, а я был настоящим, я был создателем, но у меня ничего не было.

– Остановишься у меня? – спросил Президент.

– Нет-нет, отвезите меня к отелю.

– Если сможешь, приходи, – сказал он, – ты знаешь, где меня найти. Право, я сам тебе очень рад, но ты видишь, дела, а тем более к нам давно никто не приезжал.

Должно быть, он забыл, что к ним вообще еще никто не приезжал. Я поднялся в свой номер и совсем не удивился, попав в собственную комнату. На стене висела карта Острова, рядом валялась моя курточка, в которую я не мог влезть теперь своими борцовскими плечами.

"Стоило лететь самолетом, – удивился я своей глупости, – когда можно было спокойно опуститься по ступенькам со второго этажа на Остров".

Вечером я пошел смотреть город. Мне надо было пройти по нему своими ногами и побыть одному, чтобы понять и разобраться. Я прошел переулками, где на меня никто не напал, хотя мне это было бы интересно, и вышел на главную улицу.

Ночная главная улица была такая же, как в любом городе с населением 100 тысяч человек. И скоро мне надоело ходить одному, быть инспектором и вообще виноватым в чем-то.

Как-то обидно метаться по городу в поисках собственной вины, которой, может быть, вовсе и не существовало.

Мне захотелось туда, где много людей, чтобы они знали меня и немного обрадовались, когда я войду, и чтоб было тепло, и темнота за запотевшими стеклами. А лучше всего для меня – это было родиться здесь и жить с ними, тогда бы, может быть, они меня даже любили.

Я вошел в первый попавшийся ресторанчик. Наверное, они построили его без меня, потому что я никогда не видел таких, а значит, и нарисовать не мог. Должно быть, он назывался таверной; все внутри было тяжелым, нарочито потемневшим, очень простым и уютным.

Я сел за стол, положил перед собой руки, оглядел посетителей, и все они мне очень понравились.

В дальнем конце зала смеялась девушка. Она была как привозная обезьянка. Я видел, как она сидит. То у одного стола, то у другого, взбираясь с ногами на стул, слушает со вниманием, плечи у нее худенькие и на лице – веселость.

Когда она на кого-нибудь смотрела, то глаза у нее раскрывались широко и делались совсем круглыми, и, глядя на нее, я разучился понимать, красивая она или же дурнушка.

Со мной за столом сидели двое, они говорили о своем и иногда принимали в разговор меня.

– Играет, – сказал один из них раздумчиво, – всегда играет...

– Когда такие парни появляются в городе, случаются несчастья, – сказал другой.

– Ты еще скажи, что они приносят несчастья, – сказал первый. – И что бы делал, если бы не они?

– А я терпеть не могу их! – крикнул второй. – Они поиграют и уйдут, а я, может, без них не знаю, что делать. – Он повел рукой по залу. – Без тебя не знаю, что делать... Странник он, видите ли!

А на меня он не указал.

Я давно заметил этого парня, который наигрывал что-то для себя очень легкое, но от чего не делалось веселее, и ему, наверное, тоже.

Он сидел возле стены на обычном стуле, но почему-то возвышался над всеми. Смуглое, насмешливое лицо его было обращено к дверям, словно он ожидал, что еще кто-нибудь войдет. И на нем был свитер с красной полосой поперек горла.

– Ну, спой, Странник, спой! – просила девушка.

И Странник запел, не меняя позы, с той же интонацией насмешки над всеми и над собой:

Везде я был чужим,
Везде я был приезжим,
Везде я гостем был,
А попросту нездешним.
Вот странная судьба,
Отпущенная богом, –
Ни дома, ни угла
И вечная дорога...

И он смотрел ни на кого. Я подошел к нему.

– Вы норвежец? – спросил я его со злостью, потому что девушка смотрела на него круглыми глазами.

– Да, – сказал он.

– Ну что ты врешь? – сказала девушка.

– Я могу говорить по-норвежски.

– Может, ты и птица? Я слышала, как ты пересвистывался с ними.

– Я могу быть кем угодно, когда потребуется, – сказал Странник с некоторой скукой, глядя сквозь меня.

– Пойдем, – увел я с собой девушку. – Он тебе нравится?

– Нет, что ты? Он же старый! Он давно странствует. Однажды он говорил свое имя, но я забыла. Все зовут его Странник. Ты видел его глаза? В них черная пустота, тень, ну я не знаю, что... Если долго, очень долго путешествовать, то будут такие глаза. А у тебя... – Она повернула к себе мою голову. – А у тебя не твои глаза, у тебя глаза мальчика. Какие вы все смешные!

– Я люблю тебя, – сказал я, чтобы стать взрослым.

Я повернулся и увидел, что Странник уходит, чуть ссутулясь, не глядя по сторонам и себе под ноги. И вдруг стало страшно за него: почему-то я подумал, что перед ним узкая тропинка по совершенно пустой земле. Одновременно мне стало скучно, и девушка, как привозная обезьянка, уже была мне ни к чему.

Засыпая на ходу, я добрел до отеля и улегся в постель, головой в другую сторону.

Среди ночи я проснулся от равномерного, неумолчного грохота, и мне показалось, что это длится долго, потому что еще во сне я немного оглох, ослеп и онемел. Я добежал до окна и стал к нему боком на всякий случай.

Внизу, в просвете кружевных занавесок, ползли бронетранспортеры и танки. Маленькие группы людей, одетых одинаково, торопливо и уверенно шли по тротуарам, будто они были в своем городе. Сверху все это выглядело маленьким и даже ненастоящим, если бы не лязгающий грохот.

"Так. Что делать?" – подумал я.

Я быстро оделся и положил в карман куртки браунинг. "Так я и знал, что они выдумают что-то глупое. – Мне больше всего не нравились те орудия, которым я не знал названия. – Ведь они, чего доброго, стрелять станут, да пусть стреляют, это даже интересно, но ведь они убить кого-нибудь могут. Надо их предупредить, что это не по-настоящему".

Но у меня было подозрение, что они не понимают.

Город, должно быть, заняли, небо со стороны порта было нехорошо освещено, и я не знал, что мне делать.

Я сидел в темной комнате, мимо двери неточными ночными шагами прошла мама, и я испугался, что она войдет и увидит меня, взрослого, с пистолетом, своего взрослого сына, который должен спасти город.

И тут я понял, что меня поразило – не было ни одного выстрела: город сдали без боя.

"Сволочи, ах, сволочи", – бормотал я сквозь зубы и только поэтому, наверное, не разбился, когда по балконам со второго этажа спускался вниз. Я перебегал от дома к дому, пробирался дворами и очень хотел, чтобы меня не заметили. Один раз меня окликнули, я метнулся в тень, и вслед мне засмеялись.

– Президент, – говорил я. – Вы видите, что происходит? Почему вы здесь? Кто будет защищать город?

– Поздно, – сказал Президент. – Телефон перерезан. Я один. Слышите, стало тихо!

– Президент, надо что-то делать! – закричал я, на секунду почувствовав себя маленьким, и понял, что мне надо делать: я застрелю Президента, потом пойду в казармы – только бы меня не застрелили по дороге, и если ничего не случится, мы вышибем десант из города.

Я снял предохранитель с браунинга, чуть-чуть удивившись этому, потому что прежде я не знал, где он находится и как выглядит.

– Я не виноват, – сказал Президент и встал. Он был велик ростом и брезглив.

Мной овладело любопытство, как я застрелю этого большого человека, он, подогнув колени, упадет на бок и будет мертвым. А я останусь живым, и все будут живые, а Президент будет смотреть перед собой и все равно ничего не увидит. Этого нельзя было делать, совсем нельзя. Но любопытство двигало моей рукой.

– Что здесь происходит? – раздался ясный женский голос. – И почему вы сидите в темноте?

"Какого черта делать таким девушкам в этом испортившемся мире?!"

– Началась война, – сказал я.

– С кем? – она опустила шторы и зажгла свет.

"Совсем нечего делать здесь таким красивым и капризным девчонкам!"

– Десант с Материка, – сказал Президент.

– Надо быстрее, – сказал я, угадывая события за три минуты вперед. – Надо поднять казармы. Беги! – крикнул я девушке, похожей на привозную обезьянку. – Все равно, куда... В бухту... Беги!

Я вытолкнул ее в окно, еще успел услышать ее легкий топот, и сразу в дверях возник автоматчик в берете. Я догадался, а потом увидел, что их много.

– Не бойся, мальчик, – сказал Президент. – Это ничего. Другие ведь есть.

Среди беретов я увидел чем-то знакомое лицо, насмешливое, с тенями вместо глаз.

Оказывается, в Президентском Доме были очень просторные и красивые залы. Мы переходили из одного в другой, мои конвоиры держались настороженно, а я с любопытством чего мне было бояться: во-первых, они меня охраняли, а, кроме того, я всегда знал, есть ли человек в пустом доме.

Более всего мне понравился паркет – блестящий, гладкий, всплескивающийся. И все мы оставляли на нем грязные следы.

– В каких отношениях вы с Президентом? – спросил меня офицер.

Он предложил мне сесть и, кажется, не был настроен враждебно.

– Он мой друг, – сказал я, не придумав ничего другого, кроме правды.

– Ваши занятия?

– Журналист. – И тут же пожалел.

– Газета? Город?

– Я приехал издалека. Вы меня не знаете...

– Согласен. Но вы ведь расскажете? Прошу!

Я испугался, отчего он так со мной разговаривает.

Вдруг я снова стал маленького роста. Было видно, что от некоторых волнений, связанных с захватом города, у офицера пропал сон и он не знает, чем развлечь себя до утра.

– Зачем вы нас арестовали? – спросил он.

– О, мы просто пришли на вас посмотреть, но у вас оказалось оружие. Город! Быстро!

– Абракадабра, – сказал я без охоты первое, что пришло в голову.

– Правду! Лучше говорить правду. Вы тоже ведь так считаете?

Офицер приподнялся на стуле.

– Тебя не найти, – сказал вошедший, кажется, он был старше по званию. – А это что такое? – Он взглянул на меня как на предмет.

– Друг Президента.

– Тогда я не понимаю, о чем говорить. Ты сегодня собираешься спать?

Офицер встал, и мне показалось, что у него мелкое и злое лицо.

– Жаль, однако, что вы не шпион, – сказал он, улыбаясь.

– Ты хотел бы посмотреть расстрел шпиона? – спросил он старшего по званию.

– Я никогда не смотрю на расстрелы, – сказал тот.

– Сделаем приятное Президенту? – сказал офицер.

– Назначим для расстрела четыре человека – троих солдат и офицера.

– Ну при чем здесь я? Подождите лейтенанта, он придет через полчаса. Да, Президента и этого, как его, Журналиста.

"Сразу? – подумал я. – Как же так, сразу?"

И тут же успокоился: как они могут расстрелять меня, если я их создал? Я хотел сказать об этом офицеру, но они уже уходили, твердо ступая по паркету сапогами.

Мне стали связывать проводом руки, и я подумал, что лучше, если б это была веревка, как-то серьезнее. Теперь я уже не мог распрямиться, рукам было больно, и солдат возился у меня за спиной, царапая старым проводом.

Перед моими глазами был смуглый паркет, и я вдруг ясно почувствовал, как просто перейти в дерево и стать дощечкой паркета. И может, завтра я стану паркетом, по мне будут ходить или уже сегодня я перейду душой в этот квадрат у моего башмака, так одинаково быть создателем материков и полированной плиткой.

Вошли конвоиры, и нас вывели во двор Президентского Дома. Стояло сырое, туманное утро с маленькой ватной тишиной, какая бывает, наверное, в каждом захваченном городе в первый день.

– Рассвет, – сказал Президент, с некоторым удовлетворением оглядываясь.

Нас отвели под тополя тут же во дворе, а сами встали напротив. И тогда я догадался, что нас обязательно убьют, убьют сейчас. И мне захотелось вывернуться, а если это плохой сон, то проснуться или увидеть другой.

"Что Президент, – думал я. – Он старый, он взрослый, ему не страшно, наверное, и он сам виноват в том, что сдали город... А я... Я не хочу!"

– Я не хочу, – сказал я солдатам, делая к ним шаг.

Но оказалось, что я только качнулся на месте, и голос мой был жалким.

И тогда я услышал в себе: "Перестань! Это, наверное, не очень больно. Это недолго".

– Послушайте, – крикнул я, но не двигался, боялся, что они сразу начнут стрелять. – Президент ни при чем. Это я его придумал, не надо его убивать! Послушайте.

– Перестань, мальчик, – сказал Президент.

Он стоял вольно, и брезгливое лицо его потемнело еще больше.

Тогда я отвернулся и стал смотреть на Президентский Дом, чтобы отвлечься. Там на втором этаже кто-то неторопливо открывал окно, чтобы посмотреть во двор, а может, и на нас. Это был один из "беретов". Он удобно устроился на подоконнике, потом снял с шеи автомат и направил его во двор.

Я вдруг почувствовал себя во многих измерениях: я знал, что делается на сотни миль в разных концах суши и моря, я стал Президентом, солдатами и тем, кто сидел на подоконнике, глядя со скукой вниз. Я подумал, что уже где-то видел это смуглое, насмешливое лицо, но вспоминать не хотелось. Я прислушивался к тому, как проносит во мне разных людей, разные жизни, будто ветром, и боялся лишь одного: что когда станут стрелять, то кого-нибудь убьют вместе со мной. Этого нельзя было допустить, и я постарался от них отделиться.

Щелкнули затворы. Теперь я же не думал, я был как тряпичная кукла – толкни, в любую сторону упаду. Я мог упасть от поворота собственной головы. Но мне казалось, что я не имею права упасть до срока, и потому не смотрел на Президента, на солдат, а смотрел на парня, который удобно сидел на подоконнике. Я увидел вдруг, как на его спокойном лице отразилось движение, и сразу же ударила автоматная очередь.

"Я ведь знал, что это не больно", – подумал я.

Парень влез на подоконник и спрыгнул вниз.

"Подвернет ногу", – подумал я.

Парень только пошатнулся и уже бежал к нам, размахивая автоматом.

– Пошли, – крикнул он. – Какого черта!

Тогда я увидел, что солдаты почему-то не просто лежат, а убиты.

– Почему вы перестреляли своих? – спросил Президент.

– Я не имею к ним никакого отношения, – сказал он, как-то без внимания глядя на дорогу, по которой мы уже мчались в белом автомобиле, на спидометр, показывающий сумасшедшую скорость, и руки его лежали на баранке спокойно, как на обеденном столе.

– Мне о вас говорили, – сказал Президент. С того момента, как мы сели

в машину, его лицо сделалось намного моложе и светлее обычного. – Говорят, что там, где вы появляетесь, случаются несчастья.

– Вы образованный человек, – усмехнулся Странник. – Ведь не считаете же вы меня дьяволом? Или считаете?

Мы молчали, а я подумал, что в этом юном и бестолковом мире и дьявол мог образоваться.

– Какой из меня дьявол? – Странник пожал плечами. – К тому же это глупое занятие – приносить людям несчастье. И скучно, должно быть.

– Почему вы нас спасли? – спросил Президент. – Мы вам очень признательны, но вы что, против них?

– Я не против кого-либо. – В зеркале было видно, как он поморщился.

– Сами разберетесь... Не мог же я допустить, чтобы погиб Создатель... Мир ведь еще не закончен...

Я отвернулся к окну, я чувствовал к нему ненависть, и мне было стыдно, потому что он спас нас.

... Стреляли откуда-то сверху и вообще со всех сторон, но сверху было страшнее. Автомат дергался у меня в руках: меня только накануне обучили с ним обращаться, и теперь я боялся перестрелять впереди бегущих.

Я помнил дома и дворы, и пламя, возникшее на конце ствола. Через некоторое время я установил взаимосвязь между спусковым крючком и пламенем.

Все это кружилось передо мной в разном порядке, и я не мог представить, что делается во всем городе, и только старался не упасть и стрелять точнее; я думал, что мне удается и то, и другое, но людей, в которых я попадал или не попадал, я часто выпускал из мыслей и временами бежал, забыв зачем, просто из азарта и оттого, что другие тоже бежали.

Я видел, как падали те, в кого я стрелял, и как падали наши, тогда я их обгонял и не видел, поднялись они или нет. Но про себя знал, что они не поднимаются, что они соблюдают правила игры, а сами хитро смотрят сквозь ресницы, изображая мертвых.

Вдруг стрельба стала затихать, словно отдаляясь, и прекратилась совсем. Я разочарованно огляделся – неужели все, так скоро – все, так было страшно и весело, если не считать чувства, что все это – взаправду.

– Пошли, – сказали мне с усталостью. – Все. Слышишь, по городу тишина?

Мы пошли по улице к центру мимо людей, лежавших на мостовой, и я заглядывал им в лица. Издали они напоминали кучу тряпья: лежали они, будто чья-то впопыхах скинутая одежда, но это оказались мертвые люди. В первый раз в жизни мне стало тоскливо, но я молчал, потому что по каждому надо было плакать в отдельности. И я ушел куда-то от них, туда, где было тихо, не было живых и не было мертвых, я думал, что так ко мне быстрее придут силы.

Очнулся я оттого, что Президент тряс меня за плечо.

– Пойдем, – говорил он. – Пойдем!

Я глянул по сторонам. Я сидел на задворках сгоревшего дома, подле уцелевшей стены, и от пепелища еще тянуло жаром.

– Все? – спросил я Президента.

– Да, все кончилось, – флегматично ответил он.

Форма на нем была измазана, порвана и кое-где обгорела. Вдвоем с ним

мы зашли в гостиницу и поднялись в мою комнату. Президент с недоумением оглянулся и сел в кресло.

– Устал, – сказал он, приглядываясь к карте Малевича, еще не дорисованного. – В первый раз вижу такой гостиничный номер. Но уютно. Знаешь, мне домой надо, дочку еще не видел. Говорят, по улице с автоматом шляется. Освободительница нашлась. А ты что делаешь?

– Рисую сушу, разве не видишь?.. Какую-нибудь страну, где не убивают насмерть. Пусть это будет страна с проливом, да, Страна с проливом...

– Зачем? – спросил Президент.

– Мне не нравится этот климат, – сказал я. – И вообще, здесь шумно. Я не хочу проснуться и услышать за окном лязг танков и этих, как их... До сих пор не могу запомнить названия.

– Ты в самом деле хочешь уехать? – спросил Президент.

– Конечно. Зачем я вам? Война кончилась, как-нибудь проживете. Я жил тут временно. Ну, ладно. Прощай, Президент. Может быть, я загляну к вам...

Президент вышел, и почти сразу в комнату вошла мама, и я испугался, что они столкнутся за дверью.

– Пей молоко, – сказала мама, – оно еще тепленькое. Не болтай стаканом, разольешь. Господи, что это у тебя с руками?! – воскликнула мама. – Давай я смажу, ведь заражение крови будет. Ты что, с кошкой играл? И синяки...

Оказывается, когда меня связывали, то здорово поцарапали руки.

– Ты все время сидишь дома, – говорила мама. – Совсем не дышишь воздухом. Пойди погуляй... Скучно? Почему? Никому не скучно, а тебе все скучно. Денег возьми – сходишь в кино.

Я аккуратно сложил и разгладил недорисованную Страну с проливом: каждая морщинка на бумаге потом могла обернуться трещинкой в земле, оглянулся на карту еще раз и вышел на улицу.

"Неужели уже весна? – удивился я. – Может, это осень, похожая на весну?"

Я шел, звонкий воздух подталкивал меня и поддерживал, деревья распушились, и каждая лужа была голубая.

– Мальчик, не стой на дороге!

Я попал в круговорот людей, выходящих и входящих в троллейбус. И я видел и слышал их. Я только приподнимался на цыпочки, чтобы быть выше всех, но это мне не удавалось, и видел урывками, как в просветы, что по белым перекладинам перехода идет она, девочка, как привозная обезьянка. Она улыбалась и заглядывала снизу в лицо своему спутнику. Потом за всю свою жизнь я не видел, чтобы девчонки с такими круглыми глазами ходили когда-нибудь одни. И никогда я не видел на их лицах угрюмости.

Тротуар передо мной опустел, посадка в троллейбус закончилась, я ринулся на переход. Я видел, что машины тронулись, успел увернуться от нескольких, и тут меня чуть не сбил легковой автомобиль.

Губы водителя за отсвечивающим стеклом шевелились, я отшатнулся, оглядываясь, не собьет ли меня еще кто, а автомобиль проехал мимо, и рядом с шофером сидел Странник, очень молодой и свежий, и даже свитер на нем был новенький.

Он посмотрел на меня заинтересованно, и на лице его, таком гладком, что оно блестело, было пренебрежение. И еще, кажется, он перед этим смеялся или собирался засмеяться.

Я хотел бухнуть им ногой по дверце, чтобы хотя бы оцарапать ее. А потом вспомнил о девушке. Но она пропала. Зато на другой стороне я увидел Президента, но переходить к нему уже не стал, а на углу стояли пятеро парней, с которыми мы выбивали десант из города. К ним я не подошел – они бы меня не узнали, все было так второпях и некогда приглядываться к людям.

Город в сумерках был совсем тихий, и я не встретил ни одного жителя. Я шел по улицам, уже давно миновал свой дом. Вокруг было обыденно и просто, как и должно быть, но я вновь хотел вернуться в тот мир, где можно быть героем.

II

... Гневный голос учительницы все еще стоял в моих ушах. Я почему-то не чувствовал вины, встал из-за парты и с независимым видом под взглядами ребят и девчонок покинул класс.

В коридоре было пусто. Я подошел к окну и сел на подоконник, глядя во двор. Мне было скучно здесь одному. И я вдруг захотел в свою страну.

"Там сейчас, конечно, тепло, – подумал я, смотря на белые сугробы во дворе. – Там всегда тепло, потому что так могу придумать я сам, а кроме того, мой Остров – в теплых южных морях, я даже однажды заметил на школьном глобусе крохотное пятнышко – с булавочную головку, скорее всего это была царапинка. Но я решил, что это он, мой Остров.

Мне нестерпимо захотелось на мой Остров. Там сейчас тепло, свежий ветер дует с моря, и при желании всегда можно искупаться...

Я лежал на теплом песке и грелся под лучами солнца. Над головой шумели пальмы, пели птицы, названий которых я не знал.

Мне было очень хорошо здесь, на берегу. Я поднял голову и посмотрел на свою хижину – легкий дощатый домик, а что еще нужно рыбаку! Ведь я уже был Рыбаком.

Я лежал так недолго. Вдруг появились какие-то люди в майках и коротких, до колен, штанах. Они несли сети и большие весла на плечах. Один из них подошел ко мне и, весело улыбнувшись, сказал: "Вставай, мой друг, пора выходить в море, не разлеживайся..."

Я встал и вдруг почувствовал, какие у меня большие и крепкие руки, как истерзаны они шрамами, усыпаны мозолями. Я понял, что рыбачу всю жизнь, с самых малых лет, когда без штанов бегал с собаками по пляжу.

Мы сели в лодку и стали грести в открытое море, и небо над нами было огромным, синим и совершенно безоблачным.

Я крепко сжимал отполированную рукоять весла и, откидываясь назад, резко выдыхал воздух вместе с другими гребцами. Лодка быстро скользила по воде, оставляя след. Я работал веслом и любовался морем, птицами, парящими над нами, солнцем, которое заставляло жмурить глаза...

После уроков мы возвращались с ребятами. Было уже тепло, легкая поземка мела по улицам нашего города. Мы шли, как всегда, не особенно торопясь, перебрасываясь снежками, гоняясь друг за другом, смеясь и крича во все горло.

Мы валяли друг друга в снегу, боролись, и нам было жарко и весело.

Мишка Кузнецов толкнул меня в бок "Гляди", побежал вперед, лепя снежок.

В неверном свете уличных фонарей, раскачивающихся на ветру, в вихре снежинок я не мог разглядеть, к кому он побежал. А когда через секунду узнал, бросился за ним, заорав: "Стой, Мишка, стой!"

Но он уже прицелился и, метнув изо всех сил, точно попал в цель. Девчонка вскрикнула и остановилась. Удар у Мишки был сильный, и снежок хлопнул, как выстрел.

Она обернулась, и я узнал ее – это была она, девочка с лицом, как у привозной обезьянки.

Она стояла, вполоборота повернувшись ко мне, в темноте я видел, как блестели ее глаза, в которых отражались фонари и снежинки. Я не мог понять, плачет она от боли и неожиданности или смеется.

Мишка оторопел от моего крика. Но я уже подбежал к нему и, размахнувшись, ударил портфелем по спине:

– Получай.

– Ты чего?! – заорал он, падая на снег.

И тут, разъяренный и разгоряченный, я услышал смех.

Девочка уже повернулась к нам лицом и смеялась.

Мишка барахтался в снегу, пытаясь встать, но под снегом, видимо, оказался лед, и он никак не мог этого сделать и пыхтел. Это было действительно смешно, девочка смеялась, и я больше уже не мог на него сердиться.

Я подошел и дал ему руку. Мишка не принял ее, а продолжал барахтаться. И тогда девочка сказала:

– Ну почему ты такой вредный, он же тебе руку дает...

При ней Мишка растаял. Девочка протянула ему свою руку, я – свою, и мы подняли Мишку, который встал и вдруг тоже начал смеяться. Мы отряхнули его и пошли вместе.

Удивительно! Наверное, это и есть судьба. Я целый месяц встречал ее в школе, иногда шел за ней после уроков, думал о ней по ночам дома. Я боялся к ней подойти, мучился и считал, что никогда не смогу поговорить с ней, и уж совсем не ведал, что все исполнится самым чудесным образом...

Мы шли, рассказывали друг другу разные пустяки, смеялись, а потом, проводив Мишку, я пошел ее провожать.

– О чем ты думаешь? – спросила она, шагая рядом.

"О тебе", – хотел честно сказать я, глядя на ее сапожки.

– Я думаю, почему у тебя такое простое имя, – ответил я.

– Простое? – удивилась она.

– Ну да. Разве твои родители не могли назвать тебя непохоже на других? Ты когда родилась?

– В декабре...

– Значит – Декабрина.

Девочка засмеялась:

– Ты еще скажи Снегурочка...

– Тогда уж лучше Снежана...

– А такое имя уже есть, – опять засмеялась она. И тут же посерьезнела: – А почему ты так обо мне говоришь?

И тут я собрался с духом:

– Потому что ты... такая... удивительная...

Я почувствовал, как, несмотря на мороз, запылали мои щеки и лоб.

Девочка удивленно подняла брови вверх и опять весело и звонко рассмеялась.

"Почему она все время смеется? – с ужасом подумал я. – Разве я говорю глупости?"

III

Директор стоял у доски, задумчиво глядя в окно, вертя в руке кусочек мела.

Я уже минут пять стоял столбом за своей партой, не в силах объяснить то, что он хотел от меня.

Ребята вокруг вначале шептали мне подсказки, но вскоре устали и с любопытством глядели на эту веселую картину.

– Да... – задумчиво произнес Директор, не глядя на меня, и его нижняя губа брезгливо оттопырилась. – Плохо, очень плохо, молодой человек. – Он повернул голову и посмотрел из-под темных век на сразу притихший и присмиревший класс. – Не думаю, что ваши более чем скудные познания в математике помогут на вашем жизненном пути... Кем вы собираетесь стать?

– Не знаю... – пожал плечами.

Вид у меня был, наверное, более чем глупый, и класс грохнул смехом и тут же замолк под строгим взглядом Директора.

"Президент, – думал я, глядя в упор на Директора, – ведь мы же друзья, Президент, какого черта ломать комедию..."

– Я бы сказал, что это довольно легкомысленно, если даже не сказать – опасно, – медленно сказал Директор. – Жить без ориентира, без цели... Я и раньше замечал вашу мечтательность, но все же не думал, что она заведет вас так далеко... От математики, например... Как же вы будете жить без математики?

– Как получится, – вновь глуповато отвечал я.

Класс опять грохнул, но уже тише. В глазах у Директора мелькнул интерес.

– Может, вы стихи пишете? – спросил он уже мягче.

– Нет, – сказал я.

– Так чем же тогда вы увлекаетесь? Что вас интересует в этом мире?

– Все, – философски ответил я.

– Похвально, – с иронией и уже нескрываемым интересом сказал Директор. – Скажите, а спортом вы не увлекаетесь?

– Нет, – вздохнул я, – у меня освобождение от физкультуры.

– М-да... – озадаченно сказал Директор и даже сел, чего он никогда не делал во время урока.

– Музыку любите? – с некоторым отчаянием спросил он.

– Нет, – лениво, глядя ему в глаза, ответил я. – Нет.

– Не может быть, – озадаченно сказал Директор, – я сам недавно видел вас в школьном сквере с гитарой. Или это были не вы?

– Наверное, не я... – пожал я плечами, глядя в сторону.

"Эх, Президент, – с горечью подумал я. – А я любил тебя. А сейчас ты выставил меня на осмеяние, и я больше не хочу гордиться твоей дружбой. Все. Кончено".

Кто-то дернул меня сзади за пиджак и зашипел:

– Кончай ломаться, садись.

И с других сторон: "Садись... Извинись..."

В школе любили Директора. Он казался нам воплощением справедливости и отеческой доброты. Может, мы сами выдумали его. Но, в общем-то, он был обычным человеком и никак не мог быть Президентом.

– Значит, ты бесталанный, – задумчиво сказал Директор, незаметно и впервые переходя на "ты".

– Да, я такой, – поддакнул я.

– Садитесь, – устало сказал Директор.

Он встал, обвел всех взглядом.

– Удивительно, но мне казалось, что я знаю вас. Как бы в общих чертах. Оказалось, что нет. Удивительно, какое самомнение! Древние что-то говорили по этому поводу, что-то насчет того, что там, где начинается самомнение, там кончается творчество или что-то другое. Возможно, что древние этого вообще не говорили... И это сказал сейчас я, ваш учитель математики и директор этой облупившейся школы. Наверное, я уже стар. И мне пора на пенсию. Извините...

И он быстро вышел из класса.

IV

Я опять заболел. Я лежал в кровати, большой и белый, накрытый теплым одеялом. Я болел так часто и так подолгу, что скоро свыкся с этим и не очень огорчался. Меня кормили всякими вкусными вещами; днем в комнате было тихо, только мама что-то делала на кухне.

Я включил приемник, который стоял рядом с кроватью на тумбочке, и стал слушать музыку. Пела женщина на непонятном мне языке. Песня была нежная и грустная, и я подумал, что это, наверное, радиостанция моего Острова передает песню на своем языке. И я сразу перенесся на свой Остров.

Оказывается, болеть на нем было гораздо интереснее и веселее. В крайнем случае можно было предположить, что я охотник в джунглях и поранился. Можно было представить, что на меня напали враги Президента из-за того, что я был его другом.

Женщина закончила песню, и ее сменила музыка – быстрая и ритмичная, и я вознесся в вертолете над своим Островом, я парил над ним, любуясь его лесами и долиной вдоль реки, высокой горой с белой шапкой снега и голубыми лагунами.

Он был так хорошо придуман и продуман – на это ушли все долгие дни болезни, что я не знал, что еще мне поместить на нем.

Я знал всех жителей, потому что был их Создатель. Правда, мне было иногда немножечко скучно – ведь я заранее знал, что они могут совершить, и жизнь у них была довольно однообразная.

Ведь они не могли все сразу участвовать в приключениях, которые я

придумал в основном для себя, чтобы забыться и не думать о болезни.

Я и переворот на Острове задумал из-за того, что хотел, чтобы мои островитяне встряхнулись, объединились и показали свои лучшие качества – те, которые я им вложил в души, будучи их Создателем.

Однако меня все время мучила мысль, почему я все-таки задумал этот переворот. Значит, у меня было еще одно – другое лицо. И не самое лучшее. Мне было горько от того, что я не могу быть только хорошим, только Создателем, то есть чем-то вроде бога в своей маленькой вселенной, ограниченной Островом.

"А кто же ответит за зло на Острове?" – мучил меня вопрос. И чтобы снять его, я решил, что это будет Странник. Да-да, все он – нечто вроде современного дьявола – темная сторона моей души.

На душе сразу стало лучше, теперь было на кого свалить все беды, сваливающиеся на Остров. Однако очень скоро я стал считать, что Странник виноват и во многих неурядицах моей настоящей жизни...

К вечеру температура резко повысилась. Начался жар, а вместе с ним, как потом говорила мама, – бред.

V

Это было в...

Впрочем, для меня ничего не менялось со словом "было", а только "есть", я не задумывался, но, наверное, здесь, в другом мире, у меня не было и прошлого. Я был Гонщик, вся моя жизнь была гонка, и я не знал ничего другого.

Оглушительные гоночные машины проносились по улицам города, и мы сидели в них – уже не люди, но еще не смертники.

Все было, как обычно: сумасшедшая скорость и состояние оцепенения. Тело знало лучше меня, что делать.

Удивительно, как много вмещается в тугие секунды, как будто не мелькнет ни одной мысли, а потом, после гонки, лежишь ночью, закроешь глаза, и тебя начинает мотать внутри собственного тела, и все так поджато в середке, и будет поджато еще дня три, и паршивое чувство оттого, что ничего не можешь вспомнить, но есть уверенность, что за гонку ты прожил три или четыре жизни, не своих, а чьих-то чужих, необыкновенных, но ничего не можешь вспомнить, как хороший сон наутро. А ведь только бы зацепку...

Машины выровнялись в цепочку, и никто не пытался пока никого обогнать. Я видел все чуть мягче и слышал все чуть глуше и в то же время представлял все ясно и пространственно.

Я видел этот город целиком, весь сразу и каждый его дом в отдельности, длинный и изящный, как выскочивший из рукоятки нож; видел зрителей за щитами, которыми они отгорожены от гонщиков, все его рекламы и огни, о которые можно уколоться.

Передо мной возник хвост зеленой машины. Я попробовал пристроиться сзади – "сесть на хвост". У меня не было любимых приемов, я делал все, что удобно, что приносило удачу.

О том, что маневр удался, я знал, пока он еще был закончен, и теперь

невидимая сила тащила меня, словно на веревке за зеленой машиной.

Меня держала скорость. Я настолько сливался с машиной, что одним сердцем чувствовал малейшее колебание скорости. Меня обойдут, а если увеличу на один – вылечу за вираж.

Впереди меня по-прежнему шли две машины. Одна из них была совсем близко, и я чуть не обошел ее, но на повороте пришлось сбросить газ, и потому я отстал.

Но что это? Яркий свет прожектора брызнул мне в глаза, и я зажмурился. Мне показалось, что машина взмывает куда-то высоко-высоко.

Я чувствовал боль нигде и во всем теле. Сквозь кусочек стекла я видел черноту, наверное, небо, и за ним черноту, наверное, город, а потом на этом фоне возникли люди, и я закрыл глаза...

– Пустите меня, – говорил человек тем, кто не успевал посторониться. – Пропустите, – сказал он санитарам. – Какого черта! Совсем он не умер!

– Ну, если вам так хочется...

– Не только мне, всем хочется, чтобы он не умер. Да пустите же!

Он взял гонщика за руки, и тот повис, как снятый комбинезон. И как-то так получилось, что никто не вмешался и дали человеку унести Гонщика. Всем – и друзьям, и санитарам показалось, что Гонщик мертв и, значит, они не нужны ему.

Человек шел сквозь толпу, и несколько минут, пока он был перед глазами, о нем возбужденно говорили:

– Кто это?

Долговязый, в свитере с красной полоской по вороту, он походил на всех гонщиков сразу.

– Как вы себя чувствуете? – спросил человек.

– Не знаю, – сказал я. – Куда вы меня везете?

Можно было проверить, целы ли у меня кости, несколько раз я на это решался, но всякий раз откладывал. Мне не хотелось шевелиться, когда я вспоминал, как вмазался на всей скорости в ограждение. От машины должны остаться лохмотья, и мне еще показалось, что от меня вообще ничего не могло остаться. Однако я был жив.

– Вы врач?

– Нет, я Странник, – сказал он. – Вы давно живете в этой стране?

– Довольно давно, – сказал я, – с самого рождения.

– Что за глупость родиться в этой стране и стать гонщиком? Вы могли сто раз погибнуть, пока меня не было.

– А что такое?

– Я едва успел, – сказал Странник. – Вы могли умереть.

– Ну и что? – сказал я. На мой взгляд, теперь об этом было глупо говорить, ведь я не умер, тем более что в душе у меня уверенность, что я вообще не могу умереть.

– Да, разумеется, – сказал Странник. – Но ведь мир еще не создан.

Машину тряхнуло, и мы выехали на широкую белую дорогу. У меня было чувство, что по ней еще никто никогда не проезжал или ездил, но очень редко – такой чистой и гладкой она была, словно сделана из новенькой пластмассы. Но сцепление было отличное, и, несмотря на скорость, мы ехали уверенно.

Непонятно, куда могла вести такая отличная дорога, и я хотел спросить об этом Странника. Но он остановил машину, не съезжая на обочину.

– Сможете вести машину?

"Вряд ли", – подумал я и сказал:

– Конечно.

Странник вылез и теперь стоял в нескольких метрах в стороне и позади.

– А вы? Давайте я вас подвезу. Ведь здесь и машины не ходят...

Странник хмуро улыбался.

– Что мне там делать? Езжайте один. Та страна не для меня.

Я посмотрел вперед. Дорога уходила вверх, как трамплин, и я медленно тронул машину – черт его знает, что там за взлетом, но сам знал, что ничего опасного или неприятного там нет. Я радостно знал, что там. Мне было так радостно, что я немного разочаровался, когда передо мной открылась обычная местность среднеравнинной полосы, с простыми деревьями и полянами, лесом на горизонте и свежим дыханием близкой реки или невиданного озера.

Я остановил машину и пошел пешком, почему-то подумав, что она мне больше не понадобится. Я только развернул ее в ту сторону, откуда приехал.

День стоял ясный и тихий, между деревьями пролетал теплый ветер, пахло папоротниками и немного сыростью из леса, по краю которого я шел. Кажется, я был в таком лесу в детстве, очень давно, а может, и не был. Но я точно знал: все, что располагалось вокруг меня, было единственно возможным. Нельзя было даже переставить день, по которому сейчас беспокойно метались рыжие, прозрачные на солнце муравьи.

Я не мог войти в лес, что-то меня удерживало. Я боялся леса и боялся тишины, хотя ничего угрожающего вокруг не было. Мне было бы легче пройти по ослепительным паркетам дворца, я не боялся делать обход на вираже трека, а здесь все было иначе – простым и потому страшным.

Я сидел на пне, надо мной пела птица, и я вспоминал, где же это все видел. И вспомнил. Я засмеялся. Я хохотал как сумасшедший, я понял, куда привез меня Странник, я понял, почему он отказался пойти со мной.

Это была Идеальная страна.

Как здесь было хорошо, отдохнуть можно, как здесь было хорошо! Я сидел на пне, у ног моих ползали муравьи, и я заметил, что уже не смеюсь.

"Любому другому здесь, наверное, было бы хорошо, – подумал я. – Напрасно меня привез сюда Странник. Совершенно напрасно он спас и привез меня сюда".

Я не знаю точно, что меня ждет там, в этой стране. Странник ничего мне не рассказывал о ней. Может, там – отличные отметки, может, верные друзья, какое-нибудь шоколадно-конфетное изобилие.

Фея была похожа на стюардессу международных линий, я такую видел в кино. Худенькая, стройная, с короткой стрижкой, в синей униформе, на которой было вышито серебром: "Служба исполнения желаний".

– Рада приветствовать вас в нашей стране, – пропела она, ласково улыбаясь?

– А... вы что? – ошалело спросил я. – Действительно можете выполнить любое мое желание?

– Конечно. Слушаю вас.

Я огляделся. Все вокруг – лес, мураши, небо – было слишком реальным.

Я набрал в легкие побольше воздуха и выпалил скороговоркой все мои мечты.

Фея усмехнулась и, вытащив маленькую записную книжечку в кожаном переплете, постучала серебряным карандашиком:

– Помедленнее, пожалуйста, не волнуйтесь так сильно... Значит, так... Стать повыше ростом... Ну, это и так скоро произойдет, вы еще молоды. Значит, три, нет, четыре языка... играть на всех музыкальных инструментах... Ах, да... сильным, очень сильным...

Она остановилась и озадаченно сказала:

– Прямо супермен...

Я приосанился.

Фея исчезла. И я тут же почувствовал, как наливаюсь нечеловеческой силой, одновременно вознесясь вверх. Мысли в моей голове от страха и неожиданности сбились в кучу, отчего возникла какая-то тарабарщина на трех-четырех языках. Вдобавок ко всему в руках у меня оказалась гитара, ногой я нажимал педаль барабана, валялась куча инструментов, на которых я, по идее, умел играть.

Я швырнул в ближайшие кусты гитару и со всех ног помчался подальше от этого места.

Я со страхом оглянулся: еще потеряешь дорогу и не выберешься, будешь всю жизнь торчать в этом ангельском, скучном мире.

Моя машина стояла среди деревьев, как животное, и вроде бы даже озиралась, отчего на ней было множество бликов. На белой крыше ее лежал осиновый листочек. Я смахнул его и сел за руль.

Я вылетел из-за пригорка и осадил машину – на обочине сидел Странник. Сидел он в удобной позе и смотрел в мою сторону. Я остановился возле него. Он молча сел в машину.

– Чего это вы сидели? – спросил я. – Отдыхали?

– Ждал вас.

– А может, я захотел бы остаться?..

Странник усмехнулся.

Я оглянулся назад. Оказывается, мы давно съехали с белой дороги, и я не знал к ней пути. Но про себя решил, что вспомню, если будет очень нужно, я хорошо запоминал любую дорогу.

– Зачем мне эта мечта, если я буду сидеть под солнцем один? А если вам так нравится та страна, то почему вы не останетесь там? – Я мотнул головой назад.

– Во-первых, она не там, она впереди. Так получается, что она всегда впереди, все идут к ней, и никто не может добраться, кроме меня, потому что она мне не нужна. Я не могу быть счастлив. А вы можете. Самое смешное, вы не знаете, как часто, чуть ли не все время, вы счастливы.

– Слушайте, а может, там рай? – спросил я.

– Ха-ха-ха! Это вы здорово придумали! Ха-ха-ха! А кто же я? Архангел Гавриил?

Мне даже понравилось, как он смеется, очень уж скучный он был все время, уставший. Когда он повернул ко мне голову, в его глазах, совершенно непрозрачных, что-то мелькнуло, будто свет в подземке, когда далеко в туннеле кто-то начинает размахивать фонарем.

– Впрочем, в вашей мысли есть нечто здоровое – рай тоже был выдуман, но, к сожалению, не существует. И ад не существует. Жаль.

Я покосился на него с подозрением.

– Я бы все время жил в аду, – сказал Странник. – Да не бойтесь, какой из меня дьявол, он ведь тоже не существует. Может, я что-нибудь мог бы сделать для этих, для грешников. Потому что в этом мире я никогда не поспеваю к несчастью. Надо опережать несчастье хотя бы на полминуты, а я прихожу, когда все готово, и спектакль не остановишь. Вот я и смотрю. Думаете, легко смотреть?

– Да, – сказал я. – Если б меня каждый день водили в театр, я бы сошел с ума.

– Надо ли ума, чтобы сойти с ума? – усмехнулся Странник, потянулся, положил голову на спинку и заснул.

Я удивился. Вообще-то я не предполагал, что ему не надо ни пить, ни есть, ни спать.

И тут я подумал: а куда же мы едем?

Неожиданно Странник открыл глаза.

– Послушайте, Гонщик, – сказал он, – вам когда-нибудь случалось заблудиться?

– Где, в лесу?

– Нет, вообще. Впрочем, для вас будет проще так: вам не приходилось вести гонку, зная заранее, что вы ее проиграете?

– Так не бывает, – сказал я, – даже самый последний гонщик надеется прийти первым или хотя бы вторым...

– Хороший ты парень, Гонщик, – сказал Странник. – Это я так, кажется, я устал. Остановите машину здесь. Дальше вы пойдете пешком.

– Куда? – спросил я.

– Домой. К маме. К картам.

Я вылез из машины. Странник подвинулся на мое место.

– А вы? – спросил я. – Куда вы? Пойдемте вместе!

Странник хмуро улыбался.

– Что мне там делать? Идите один. Ваш город, ваша реальная жизнь не для меня. А вы, я думаю, все-таки будете там счастливым. Если перестанете путешествовать... Понятно? Идите. Да, один совет: как только дорисуете последний риф, забудьте свои карты. Здесь значительно лучше – это ведь настоящая жизнь, а не понарошку, как бы там ни было...

Я пошел один. Услышал, как разворачивается машина, но не обернулся. Шел по городу, узнавал каждую улицу, кто-то назвал меня мальчиком, и я отразился в витрине тринадцатилетним подростком, но все равно я чувствовал еще себя немного Гонщиком. И только когда я пришел домой и мама сказала: "Иди поешь!" – я совсем почувствовал себя мальчишкой, уставшим, измотанным и слабым.

VI

– Оболтус, – сказал отец, поедая омлет. Он сказал это как бы между прочим, больше увлеченный омлетом, чем мной.

Я сидел напротив, положив руки на стол и допивая чай. Как бы быстро я ни ел, я не успевал пулей вылететь из-за стола. Обязательно дожидался подобных словечек.

– Оболтус, – повторил отец. Он не знал бо... к чему прицепиться, и вдруг взвизгнул: – Убери локти со сто...! Кто не... тебя так сидеть?!

– Ты, – ответил я.

– Что? – не понял он, на миг успоко...сь.

– Я говорю – ты сам. Посмотри, ты сиди... точно так же...

Отец взглянул на свои локти и убрал их со стола. Но так есть было неудобно, и он разозлился.

– Не перебивай отца! – крикнул он и для убеди...ности грохнул кулаком по столу.

Мать, стоявшая у плиты, вздрогнула. Она смотре... на меня так, словно я был блудный сын и сорок разбойников вместе взятые.

– Встать! – заорал отец. – Встать!

Он так проорал, что мне стало страшно. И я усмехнулся. Это действительно смешно: пятидесятилетний лысый бухгалтер изображает в своей семье нечто среднее между Наполеоном и армейским старшиной.

Моя ухмылка доконала его.

– Мне надоело твое лоботряс...

Он не мог выговорить это слово, сплюнул и продолжал кричать:

– Твое разгильдяйство, ты вечно где-то пропадаешь, где-то шляешься, приходишь пропахший табаком, в порванной одежде... Где ты шляешься?

– Собираю макулатуру и металлолом...

Оплеуха со звоном врезалась мне в голову.

Боль ударила меня в сердце, я задохнулся от нахлынувших горечи, тоски и отчаяния.

Я выскочил в коридор, открыл дверь и выбежал на улицу. Я долго не мог успокоиться, блуждая по ночному городу. Горели, потрескивая, редкие неоновые вывески, одинокие машины проносились по темным улицам, люди возвращались из кино.

Скоро не будет и редких прохожих, улицы опустеют... Куда же идти мне? Я бы мог, конечно, пойти к ребятам из класса. Но друзья ли они мне?

Идти домой не хотелось. Опять видеть отца, терпеть его придирки, оскорбления... За что он так ненавидит меня? За что?

Как-то, роясь в старых фотографиях, я нашел снимок, на котором отец, молодой, с густой шевелюрой, в каких-то нелепых с широкими штанинами брюках, держал на руках малыша, в котором почти невозможно узнать меня.

Тогда он, наверное, любил меня. Носил на руках, целовал, тискал, дарил игрушки. Что же случилось потом? Из-за чего наступил перелом?

Ведь я еще помню, как в первом классе мы ходили с ним в зоопарк, смотрели на слона, а потом в аттракцион "Гонки по вертикальной стене", ревели моторы мотоциклов, гонщики в кожаных куртках неслись где-то внизу, сотрясая стены передвижного цирка. Я млел, кричал от восторга и хотел стать таким же гонщиком и больше никем.

Потом отец стал все чаще и чаще кричать на меня, придираться по большим и маленьким пустякам, был все время раздражительным и злым.

Вначале я думал, что это, наверное, справедливо, я действительно стал хуже учиться, сам не знаю почему.

А он вновь и вновь обрушивался со своими упреками и криками. Мама пыталась несколько раз вступиться за меня, но он ожесточался все больше и больше. И теперь после школы я уже не хотел идти домой, по ночам мне

часто снились кошмары, отец с какими-то нелепыми гримасами, кривляющийся, что-то кричал, кричал...

А потом я заболел. Вначале вроде бы и несерьезно, так – недомогание, врачи говорили, что это пройдет, переходный возраст, но дальше было все хуже и хуже. Я лежал в больницах, уже по месяцу-два, худел, мучился от сильной боли и слабости.

Я не заметил, как они появились. Они вышли откуда-то из подворотни и встали, окружив меня кольцом. Убежать я уже не смог бы, да и не хотел.

– Гуляешь? – улыбаясь спросил парень в кепочке с зеленым козырьком, перекатывая во рту резинку.

Я молчал. Я уже знал, что будет дальше, чувствовал чье-то дыхание сзади и прикидывал, чувствуя дрожь в ногах, как они будут бить меня... За что, я как-то не задумывался.

– Мелочь есть? – опять спросил парень.

Какой-то маленький, кругленький уже услужливо кинулся ко мне и стал лазить по карманам, быстро вытаскивая их содержимое.

Он вытащил расческу, грязный платок, потрепанную записную книжку и обернулся в недоумении на своего предводителя.

"Значит, побьют здорово, разозлились, что денег у меня нет", – подумал я, сжимаясь.

– Смотри, шеф, нашел. – Толстяк держал на ладони монету. Как он нашел ее в карманчике под ремнем, где носят маленькие перочинные ножички? Опытные ребятки, ничего не скажешь.

"Шеф" взял монету и стал разглядывать ее в свете фонаря.

– Серебро? – спросил заинтересованно.

– Отдайте, – хрипло сказал я. – Это мой талисман.

– Талисман? – удивился "шеф". – Это же какого государства монета?

– Это монета моего Острова, – вдруг сказал я. Для меня она, неизвестного происхождения, была тонкой материальной ниточкой, связывающей с Островом.

– Какого острова? – вновь удивился "шеф", продолжая рассматривать монету.

– Моего... – устало сказал я.

– Твоего? – "шеф" внимательно посмотрел на меня, а подонки дружно заржали.

– Ребят, да он чокнутый, – вдруг кто-то сказал.

– Бей его! – крикнул другой, и меня толкнули в спину.

"Сюда бы Президента и ребят из его охраны", – вдруг подумалось мне, но я не удержался и упал.

VII

Это был очень странный город. У самых его ворот мне повстречался оборванец, который снял дырявую шапку и, широко улыбаясь беззубым ртом, хрипло воскликнул:

– Добро пожаловать в столицу мира – наш процветающий город!

Я с сожалением посмотрел на полуразвалившиеся стены города, на облупившуюся краску на заржавевших воротах.

"А вот и городской сумасшедший", – невольно подумал я и вошел в город.

Меня поразило страшное запустение и беспорядок. По грязным улицам бродили целые стада бродячих собак, окна в домах были кое-как заделаны фанерой или попросту заткнуты тряпьем, стены – многочисленными дырами, в воздухе отчетливо чувствовался запах гнили и плесени. Из каждого окна доносились смутные рыдания, причитания и плач.

Мне стало так страшно и неуютно, что я невольно остановился и замедлил шаг.

Я не мог припомнить, когда я создал этот город, и откуда я мог его придумать? А может быть, он существует сам по себе?

Мимо пробегал грязный, оборванный мальчишка. Я схватил его за шиворот и повернул к себе лицом.

– Что это за город?

– Добро пожаловать в наш самый лучший в мире город! – одним духом заученно выпалил мальчишка, глядя в сторону пустыми и унылыми глазами.

– Ты где живешь? – решил я разобраться получше.

– Рядом, – крутнул головой пацан. – У нас великолепная квартира, три телевизора, две машины и один холодильник, – гордо добавил он, хотя я и не интересовался этим.

Он пошел вперед, показывая дорогу. Мы вошли в темный, сырой подъезд, провонявший мочой, и стали подниматься по полуразрушенной лестнице.

– Только не беритесь, пожалуйста, за перила, – вдруг попросил сопящий пацан. – Они могут упасть кому-нибудь на голову...

Я пошел еще осторожнее. Как он ориентировался в этой темноте, было непонятно. Возможно, его вел инстинкт.

Наконец он остановился и загрохотал в дверь. Не сразу она отворилась, и в проеме возникла мужская фигура в грязной майке и полинявших тренировочных штанах с пузырями на коленях.

– Где ты шлялся, мерзавец! – заорала фигура, готовясь дать пацану затрещину, но, заметив меня, тут же ласково улыбнулась и совершенно другим голосом произнесла:

– Добро пожаловать, милейший!

Фигура повернулась и пропела в глубь квартиры:

– У нас гости, дорогая...

– В доме жрать нечего, а вы гостей называете, – пробурчал низкий женский голос, выходя в коридор, но тут же осекся, заметив меня, и тоже пропел, нет, скорее даже промурлыкал:

– Милости просим... Мы всегда рады гостям...

Все в квартире было в крайнем запустении и беспорядке. Меня усадили на дырявое кресло – я чувствовал себя в нем, как на унитазе, и наперебой принялись угощать сухарями и водопроводной водой.

– Видите ли, – щебетала хозяйка, – мы решили отказаться от лишних и вредных нагрузок на организм – все это мясо, масло, жиры.

– Это замечательная диета! – поддержал хозяин. – Правда, вкусно?

Я ошалело хрустел сухарями и думал, что попал в гости к сумасшедшим.

– У нас замечательная четырехкомнатная квартира, – продолжала хозяйка.

– Трех, – поправил ее хозяин.

– Но... – попытался возразить я.

– Считайте, – сказала хозяйка, – кухня – раз, ванна – два, туалет – три, зал – четыре.

– У нас же совмещенный санузел, – прошептал хозяин.

– Ну какая разница! – рассмеялась хозяйка.

Я заозирался в поисках выхода.

– Я, пожалуй, пойду...

– Не уходите, останьтесь! – вскочил хозяин, подхватывая под руку и таща к выходу.

– Очень прошу, останьтесь! – хозяйка схватила за другую мою руку, и я с удвоенной скоростью понесся к выходу.

Они буквально вытолкнули меня на лестницу.

– Заходите еще! – прокричали мне вдогонку два их голоса.

И я полетел вниз, считая пролеты...

Я вышел на улицу. Возле дома собралась небольшая толпа. Все смотрели на клоуна, который выкрикивал что-то, гримасничая. Его лицо показалось мне знакомым.

– Стадо лицемеров! – донеслось до меня.

Толпа оглушительно захохотала, раздались аплодисменты.

– Странник, – тихо воскликнул я.

Клоун внимательно посмотрел на меня и стал раскланиваться. К ногам его посыпались монетки. Не обращая на них никакого внимания, он стал протискиваться сквозь толпу ко мне.

Наконец он очутился рядом со мной... и, крепко схватив меня за руку, потащил за угол ближайшего дома.

– Что ты здесь делаешь? – задыхаясь, спросил он меня, прислоняясь к осыпающейся штукатурке.

– Не видишь, путешествую, – огрызнулся я. В самом деле, что это он допрос мне устраивает. Что он мне – родитель или учитель? Пользуется, понимаешь, тем, что не я его создал...

– А ты? – в свою очередь спросил я. – Что ты здесь делаешь?

Странник смутился. Опустив глаза, он рассматривал пыльный, потрескавшийся асфальт.

– Видишь ли, – сказал он. – Чтобы оставаться здесь самим собой, нужно быть по крайней мере клоуном... шутом. Тогда можешь делать и говорить, что хочешь...

– А в противном случае?

– В противном случае ты просто исчезнешь...

– Убийство?..

– Иногда да, но здесь чаще прибегают к более тонким способам. Например, объявляют человека сумасшедшим. Это очень удобно. К тому же, когда его начинают лечить, он действительно сходит с ума...

А иногда поступают так: делают вид, что человека нет, не существует. Не понял? Очень просто: его нет, он не существует. Его не замечают на работе, и он, не выдерживая, уходит с нее, его боятся и не любят дома, и он уходит от близких, от него все отказываются; если с ним что-то произойдет, все с облегчением вздохнут и, может, даже вспомнят о нем. Так бывает с очень

известными людьми – они умирают, и их все проклинают... Тогда они начинают жить вновь...

– Как это все страшно...

– Да уж, – вздохнул Странник.

– Только я не могу понять: откуда это все взялось? Я вроде ничего такого не задумывал. Неужели они сами...

– Ты угадал – сами... Это был нормальный город, нормальные люди. Но потом кучка мерзавцев, объявив себя верховными правителями, начала творить беззакония – терроризировала людей, запугивала их, расправлялась с неугодными, тех же, кто пытался протестовать, был против, объявляли врагами...

– И это сходило с рук?

– Конечно. Все были убеждены в их правоте. Люди, подчиненные дисциплине и страху наказания, работали, как исправные механизмы.

– А потом...

– А потом город пришел в упадок – все планы и цифры оказались дутыми, все обманывали друг друга... Ты сам видел, каково им сейчас...

– Но надо же что-то делать...

– Надо, – кивнул головой Странник. – Но для этого нужно, мне кажется, перевернуть, перетряхнуть их вверх дном, встряхнуть их, заставить поверить в себя, а главное – в Правду...

– Может... – пробормотал я.

– Ни в коем случае! – замотал головой Странник. – Они должны сделать это сами! Я пытаюсь помочь им – высмеиваю их недостатки, бичую пороки – словом, пытаюсь открыть им глаза. Меня не всегда понимают – несколько раз даже били, а то и откровенно принимают за шута. Но что-то уже меняется в них.

– Удачи тебе, – пожелал я ему.

– Спасибо, – тихо сказал Странник. Вид у него был очень усталый.

– А вот это лишнее... Иначе ведь ничего не получится...

VIII

Я шел по пыльной дороге, когда откуда-то сбоку неожиданно появились двое.

– Ты кто такой? – спросил один из них, цепко хватая меня за руку.

– Пустите... Вы что? – сопротивлялся я. – Куда вы тащите меня?

– Известно куда – к Величайшему из Величайших, Удивительному из Удивительных!

– Кто это?

Они остановились, и уже другой недоверчиво посмотрел на меня:

– Ты хочешь сказать, что ничего не слышал об Отце Города?

– Нет, – я пожал плечами.

Через некоторое время мы уже шли по улице города.

В общем-то, это был город ни большой ни маленький. Средний. И люди в нем были какие-то средние, безликие, я бы сказал. Сплошная масса лиц, очень похожих друг на друга.

Повсюду были развешаны красочные призывы и лозунги.

"Тысячу лет Отцу Города!" – прочитал я на одном из них. "Неужели они верят, что человек может прожить тысячу лет? Глупость какая-то".

Поражало и другое. Везде – в витринах магазинов, на фасадах домов, в окнах трамваев висели портреты одного и того же человека. Это был один портрет, размноженный и повторенный в тысячах экземпляров – строгий черный костюм, белая рубашка с галстуком, благородное лицо. Вид немного портили... огромные уши. Я даже остановился, чтобы поразмышлять, отчего они такие, но мои спутники вежливо и настойчиво подтолкнули меня в спину.

– Не останавливайтесь перед портретом...

– Почему?

– Мало ли что подумают наши граждане. А вдруг ты захочешь оскорбить нашего Отца Города, сказать что-нибудь такое...

– Понял, – быстро сказал я. – Ведите меня к своему Величайшему.

Отец Города принял меня в своем дворце, окруженный огромной, в три ряда охраной и сотней советников.

– Здрасьте, – сказал я ему.

Он кивнул головой.

– Повторяйте за мной, – прошипел у меня за спиной один из моих спутников. – Я пришел, чтобы засвидетельствовать вам, Величайший из Величайших...

– Я пришел, чтобы познакомиться с вами...

– А кто вы такой? – прошептал один из ближайших советников Отца Города.

– А кто вы такой? – бесстрастным голосом повторил тот, не глядя на меня.

– Я... – я замялся. – Путешественник.

– Мы любим и уважаем путешественников, – зашептал советник прямо в огромное волосатое ухо Отца.

– Мы любим и уважаем путешественников.

Я почувствовал, что начинаю уставать от такого диалога.

– А вы что, сами не можете отвечать?

В рядах Отца Города возникло замешательство. Вперед выступил один из его советников и сказал:

– Но вы не слышите – вам отвечают.

– Мне отвечает вот этот человек. – Я показал на советника-подсказчика. – В школе за это двойки ставят...

В зале поднялся невообразимый шум:

– Позор! Скандал! Вон! Провокация!

Меня вытолкали из зала и угрожающе-вежливо попросили:

– Чтобы духу твоего здесь больше не было!

Я вышел на улицу. Со всех сторон на меня смотрели портреты-человека с большими ушами. Из динамиков раздавались его монотонные речи. Меня замутило.

И тут я увидел Странника. Он стоял на небольшой эстраде в скверике и показывал фокусы.

Он делал это так ловко и изящно, что многочисленные зрители все время аплодировали ему.

Заметив меня, он приподнял над головой свой черный блестящий цилиндр, из которого только что доставал и уже успевал живых кур, сделал мне знак и, спрыгнув с эстрады, пошел ко мне.

– Людям можно показывать фокусы, но [illegible], – улыбаясь, сказал мне.

– Вас здесь ценят, – кивнул я на восторженно [illegible] толпу.

– Однажды ко мне пришли от Отца Города. Предложили пойти к нему на службу. Напрасно я пытался убедить их, что я всего лишь развлекаю людей, а не обманываю, они ничего не хотели слышать. "Ты можешь стать первым человеком в городе", – сказал один из этих людей. Но я отказался...

– Вы говорите, словно сожалеете об этом.

– У каждого из нас хотя бы раз в жизни возникает соблазн легкого успеха... Любой ценой.

Странник вдруг остановился и внимательно посмотрел на меня.

– Я ведь тоже был Создателем... И у меня был свой Остров, своя страна, в которой я надеялся найти счастье...

– Ты не веришь? Тебе кажется это невероятным – ведь это ты создал меня, не так ли? Но вот видишь, как бывает: не все в нашей власти, иногда ситуация выходит из-под контроля...

– И вот видишь, кем я стал? Человеком, обреченным на вечные скитания, поиски...

– Но ведь я так и задумывал тебя, Странник...

– Да. Но ты не вкладывал в это особый смысл...

– Поиски чего?

– Да я и сам не знаю уже. Когда-то, раньше, мне кажется, я знал точнее, определеннее... Видишь ли, в юности все представляется более ясным и четким, и тебе кажется, что ты точно знаешь, чего хочешь: успеха, славы и любви...

– Значит, ты несчастен?

– Не больше настоящих или выдуманных, чем любой из людей...

– Я совсем запутался, Странник...

– Не мудрено, люди заблуждаются, как правило, в простом, в сложном легче найти дорогу...

IX

– Каждый из нас может стать создателем своей Вселенной... – сказал Директор.

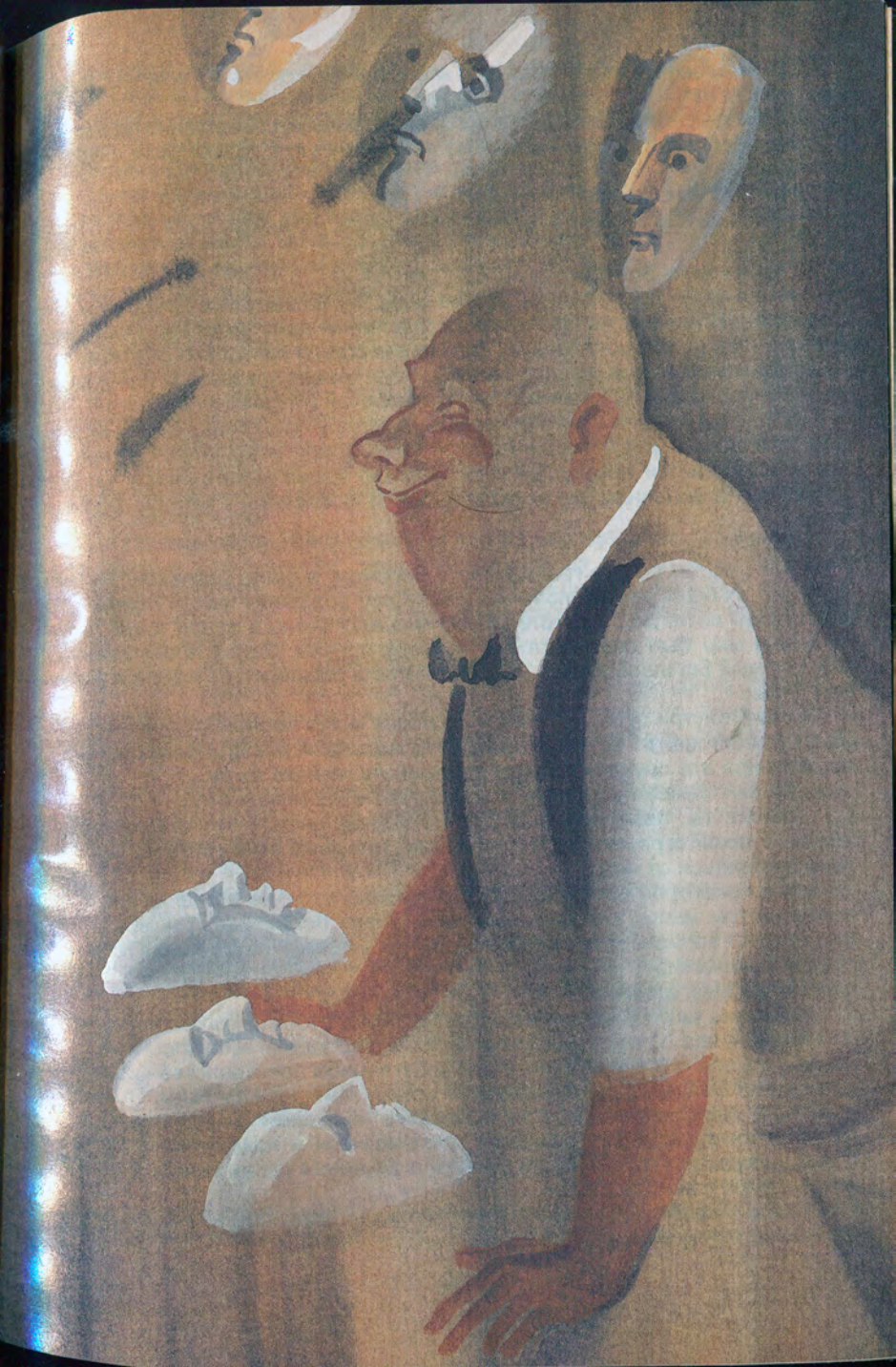
Он оставил меня после уроков, чтобы позаниматься физикой и математикой. Из-за своей болезни я безнадежно отстал в учебе.

Директор уже битый час растолковывал мне что-то скучное и непонятное. Я тихо скучал и терпел. Наконец, он потерял терпение и произнес эту фразу, насчет создания Вселенной.

Я тут же встрепенулся и с интересом посмотрел на него.

– Видишь ли, я бы мог тебе все это объяснить, только не знаю, как это сделать попроще – ты ведь один из самых неуспевающих учеников по физике.

– А вы... что – разбираетесь в космосе?



– Циолковский, кстати, тоже был всего лишь школьным учителем. Впрочем, попробую.

Представь себе Вселенную, в которой мы живем, совершенно плоской...

– Но ведь это сфера! – невольно воскликнул я, выдавая свои скудные познания.

Директор усмехнулся:

– Ты говоришь это так, словно один знаешь истину...

Я смутился:

– Так принято считать...

– Никогда не принимай ничего на веру, не убедившись точно сам... Я отвлекся... Впрочем, ты прав – наша Вселенная действительно имеет вид сферы – это доказано учеными. Только эта сфера настолько огромна, что нам, таким маленьким, словно пылинки, она может показаться плоской...

– Это как земля на равнине кажется плоской до самого горизонта.

– Вот-вот, я вижу, ты уже понимаешь. А теперь представь, что появились обстоятельства, при которых на этой трехмерной искривленной поверхности развивается место, где пространство-время вытягивается, словно опухоль, и в конечном счете отделяется от Вселенной - матери, образуя новую.

– Вот это да!

– Это действительно грандиозно... Впрочем, я опять отвлекся. Ты уже знаешь – в общих чертах, конечно, – историю рождения нашей Вселенной: миллиарды лет назад вещество было сосредоточено в одной точке, будущий наш мир был сверхплотным и сверхгорячим. Затем произошел так называемый Большой взрыв, Вселенная стала расширяться и делает это по сей день...

Так вот, внутри этой выпуклости условия могут первоначально напоминать существование во время Большого взрыва. А вот для наблюдателя в нашем мире эта опухоль должна напоминать черную дыру...

– Я о них слышал и видел – в передачах по телевидению...

– Значит, ты, наверное, знаешь, что черная дыра – это сверхплотный объект с такой огромной силой тяготения, что даже лучи света не в состоянии оторваться от него.

Через некоторое время черная дыра испаряется, не оставляя никакого следа на том месте, где была рождена новая Вселенная. Так вот: часть черных дыр, возможно, и является такими "опухолями", о которых я тебе уже говорил вначале...

– Ну дальше, дальше...

– Молодец, ты проявляешь нетерпение, значит, тебе не только интересно, но ты еще и все понимаешь. Так вот: после отделения выпуклости от Вселенной-матери она существует уже в собственном пространстве - времени, автономно. Связи между двумя этими вселенными невозможны. Обреченные законами физики навсегда остаться в неведении относительно друг друга, любые разумные существа, появившиеся в новом мире, должны будут испытывать такие же трудности в изучении своих начал, с какими встречаемся сейчас мы сами...

Отсюда, видимо, и возникает порой иллюзия одиночества нашей Земли, населенной разумными существами, во Вселенной.

Директор замолчал, задумавшись. Он смотрел в никуда или скорее внутрь себя, и взгляд его был долог и [illegible].

Я тоже молчал, потрясенный. Здесь, в этом классе, я узнал о создании миров, о другой жизни.

Наконец, Директор вновь обратил на меня [illegible] внимание.

– Самое удивительное в том, что можно да[illegible] начало совершенно новой Вселенной, используя энергию, равную всего [illegible] нескольким килограммам вещества... Если, конечно, найти какой-то сп[illegible] сжать это вещество до невероятной плотности и как-то запустить этот процесс. А раздувание должно сделать все остальное.

– Вот это да!

– Неужели ты понял?

– Конечно!

– Вот видишь, даже ты – один из самых слабых по физике – понял!

Менее чем за микросекунду, – возбужденно продолжал Директор, – новая Вселенная должна раздуться до огромных размеров, создавая для себя все вещество и энергию, какую ей потом суждено вместить; она должна напоминать наш собственный мир...

– Это невероятно!

– Да! Но возможно. И вот почему: я думаю, что давление и температуры, необходимые для "запуска" новой Вселенной из малого количества вещества, должны быть, конечно, гигантскими, но не бесконечно большими...

– А это значит, что человек в принципе способен создать новую Вселенную фактически из ничего...

– Но когда, когда это станет возможным?

– Не знаю. Думаю, что очень не скоро. Все это находится далеко за пределами наших сегодняшних возможностей, но в каком-то, пусть далеком, будущем любая сверхразвитая цивилизация когда-нибудь смогла бы... Я верю...

Впрочем, об этом остается лишь гадать, пока же мне известно лишь одно – наша Вселенная, возможно, возникла в результате чьих-то усилий...

Потрясенный, я молчал.

Директор выглядел очень утомленным.

– Но как же могут две смежные вселенные сосуществовать и еще расширяться без столкновения?

– Да они просто существуют в разных местах и в разные времена, – устало объяснил Директор. – Раз уж их общее пространство - время расщепилось, две вселенные никогда не смогут иметь ни одной точки соприкосновения и ни одного канала взаимных связей. Это ведь так просто...

– Знаете, о чем я подумал сейчас?

– Нет.

– Вы бы тоже могли стать создателем... создателем Вселенной...

– Спасибо... – усмехнулся Директор.

X

...Я брел по винограднику, с холма на холм, перешагивая пожухлые стебли, увязая в землю ногами, когда входил в полосу недавних дождей. Я

устал идти и не хотел даже вспоминать прошлое, потому что устал и от того, что произошло со мной прежде. Я хотел встретить людей, просто услышать их голоса и чтобы они меня накормили. Когда я увидел человека, то принял его за дерево, так неподвижно и безмолвно он глядел на меня.

– Есть здесь где-нибудь поселок? – спросил я, не уверенный, что он поймет меня, тем более что не помнил, на каком языке говорят в этой стране.

– Вот за той горочкой, – сказал человек и уже больше не обращал на меня внимания, а снова глядел перед собой.

Я прошел через все поселение. Улицы были травянистые и одинаково маленькие, встречались неторопливые люди, и стояла деревенская тишина. Всего было очень много – домов, людей, тишины, и я решил, что попал в город. Я попытался что-нибудь вспомнить об этом городе, но он путался с каким-то другим, а ступив на виноградники, я не посмотрел даже части света на своей карте. Теперь уже трудно было все удержать в памяти – создание мира приближалось к своему завершению.

Иногда я чувствовал себя утомленным, как коврик, по которому прошло много людей.

В общем окружении я выловил лицо своего недавнего друга и, отталкивая стакан, говорил:

– Потом! Ты мне скажи, как называется этот город?

– Выпей...

– Нет, ты скажи. И город ли это вообще?

– Город, конечно. Что же это еще? Ты видел большие дома в центре? Выпей этот стакан и вспомнишь. Это не просто город, это – столица.

– Ну, хорошо, – говорил я. – А что это звенит? Не шевели пальцами, они у тебя звенят... И ты тоже... Что это за шум?

– Молодое виноградное вино, я же тебе говорил... Сейчас все пройдет.

– Да, – сказал я, – звенит. Это Город у Пролива, да?

– Есть пролив, только он далеко.

– Кретин я. Столько виноградников нарисовать... Ты знаешь, я чуть не сдох, когда шел по этим стеблям.

– А где ты жил раньше?

– Я? Везде. Не знаю, где я еще не жил. Я не жил там, где ничего нет... В последний раз я, например, был ковбоем.

– Так ты, оказывается, ковбой? – засмеялся мой друг, и меня это страшно разозлило. – Ты пас коней, а может, овец?

– Не будем задавать глупых вопросов! Я был ковбоем, и все другое было для меня безразлично. А теперь я художник.

Нас было много. Мы сидели под темным ночным небом, под звездным, и все были пьяны от молодого виноградного вина. С веранды падал свет на наш стол, освещая грубые кружки, наши руки и лица, а тот, кто сидел к свету спиной, был виден силуэтом.

– Давайте выпьем, Художник! И вообще, нарисуй что-нибудь хорошее, красивое... А, Художник?

– Вы и так уже есть, – сказал я, – зачем еще рисовать. Я помню, меня один раз почему-то не расстреляли...

– Пей, пей, – сказали мне, – хороший ты человек, Художник, но странный. Лучше нарисуй что-нибудь простое.

– Скучно вы живете, – не выдержал я. – Все о вине да о вине...

– Да, нам нравится наше вино! – воскликнул один из завсегдатаев таверны. – Оно украшает нашу жизнь, делает ее еще ярче и богаче...

– Ерунда! – вдруг сказал знакомый мне голос из дальнего угла. – Слабые, ничтожные люди. Вместо того чтобы строить новые дома, растить талантливых детей и думать о будущем, вы одурманиваете себя этой гадостью, убегаете в пустоту, в ничто...

В таверне стало на миг так тихо, что было слышно, как под столами прошелестела, попискивая, мышь.

"А ты, – вдруг пронеслось в моем мозгу, – разве ты не бежишь от жизни в свои грезы, в выдуманные страны?"

"Нет, – неуверенно отвечал я себе. – Я ищу истину... Ведь в моем мире все происходит почти так же, как в мире настоящем, только здесь я – сильнее..."

И тут вновь начался гвалт, все загалдели, с гневом показывая туда, в угол, где сидел сказавший дерзкие слова. Но никто не посмел подойти к нему.

– Нет, ты скажи, почему тебя не расстреляли? – опять кричали мне через стол.

– Спасли меня. Один человек в синем свитере и с красной полосой через горло.

– Через горло?

– Ну, через горло. Про него говорили, что он появляется, когда случаются несчастья. За час до несчастья, ну, может, за три минуты. Сейчас вспомню, как он пел: "Странная судьба, отпущенная богом, – ни дома, ни угла и вечная дорога..."

– Путешественник, что ли?

– Нет, он Странник. Глаза у него, знаете, такие... Ничего в них нет, черная пустота...

– Да брось ты о нем!

– Наклонись ближе, я скажу. Мне кажется, он знает, как надо...

– А ты не знаешь? Посмотрите на него, он не знает, как надо...

– Ты слушай, я его очень давно ищу. Я думаю, он знает, как надо сделать, чтобы все было, как должно быть, чтобы все было правильно. А то происходит то, что не нужно никому. И убитые остаются мертвыми.

– Пей, Художник, чего там! Вот я, например, делаю паркет. Ты знаешь, что такое паркет?

– Знаю, – сказал я, – я сам чуть было не стал паркетом. Одной плиточкой...

– А? Ну пойдем тогда спать. Я тебя отведу.

Но Художник вдруг заартачился.

– Вот ты кто? – пристал он к одному за столом. – Почему у тебя лицо – будто мы все надоели? Ты все время смеешься про себя...

Человек, к которому обращался Художник, поднялся и, чтоб не связываться, ушел куда-то в темноту. Когда он проходил по освещенному пространству, было видно, что он не обиделся – лицо у него было скучающим, хотя и угрюмым, и он сутулился, словно ему было холодно в своем синем свитере с красной полосой через горло. В темноте было трудно понять, но, наверное, это был немолодой и усталый человек. И только один отшатнулся

от него, когда близко глянул в его лицо, – у человека вместо глаз было ночное небо без единой звезды.

... Утром солнце светило мне в лицо, и я увидел красный сон. Уже проснувшись, но не открывая глаза, я вспомнил, что же было накануне, мне всегда стыдно за глупости, которые я творил в чужом городе. Я не припомнил ничего ужасного, встал и пошел с кем-нибудь поговорить. Было безлюдно, и это меня обеспокоило. Я почти был уверен, что вчера что-то случилось, и вдруг вспомнил силуэт и болезненно-насмешливое лицо. "Странник! Что ему надо было здесь? Что-то случилось в городе, может, во всей Стране у Пролива. Надо что-то делать! Надо кого-то предупредить! Но что скажешь? Что появился человек, с которым всегда приходят несчастья? Ведь засмеют..."

Я кинулся в город. Тревожных признаков не было, но я ведь не знал этого города раньше.

"Поговорить бы с кем, – думал я. – Странник где-то в городе, значит, ничего ужасного пока не случится. Как же я его вчера упустил?!"

Я забрел в какой-то двор. В глубине его сидела женщина, и рядом с ней стояла коляска с ребенком.

– Хорошо вам живется? – спросил я. – Спокойно?

– Ничего, – сказала женщина, – только осени не бывает.

– А что, разве плохо, если нет осени, нет дождей и сырости?..

– Вместо осени сразу зима наступает, на три месяца длиннее, что за климат проклятый. Вот скоро опять будут морозы.

Я этого не предусмотрел и смутился.

– Хорошо, – сказал я. – Сделаю осень, раз надо, я же не знал...

Я уже привык к тому, что все повторяется, в любой стране все выглядело одинаково: дружба, привязанности, подозрения; и любовь, и ненависть иногда выступали в чистом виде, и мне было труднее всех, потому что я жил среди них временно. Я много видел и многое понимал, но не знал, что будет, когда нарисую последний коралловый риф, который нужен для того, чтобы об него разбивались рифы...

Уходя, я оглянулся на коляску – ребенок смотрел в небо. Он был похож на меня в детстве.

Я остановился у открытой лавки. Вокруг были развешаны цветные маски. Меня неприятно поразили зияющие, словно кричащие, рты и круглые пустые глазницы.

Из помещения вышел лавочник и, сложив руки на животе, стал разглядывать меня, словно приценяясь.

Я молча рассматривал маски. Одинаковых не было. Даже две страдающие различались между собой. И счастливых не было одинаковых...

Вдруг подбежал запыхавшийся человек.

– Вот эту! – Он показал на маску, болтающуюся на ветру.

Лавочник молча снял ее и протянул человеку.

Я с любопытством следил за ними.

Человек, переминаясь от нетерпения, стал стаскивать с себя... свое лицо, оказавшееся тоже маской.

– Что? Не подошло? – сочувственно спросил лавочник.

Человек не отвечал, старательно сдирая маску. Смотреть на это было

противно – натянутая кожа хлопала, ка[illegible] скользила в руках. Наконец, он справился и, швырнув старую маску [illegible] тут же схватил и начал натягивать новую.

Я присмотрелся. Новое лицо на глаз[illegible] помолодело и подобрело. Вдобавок и волос оказался гуще и темнее. Это [illegible] всегда прежний человек, но уже и не тот, внешне гораздо лучше.

– Зеркало! – прохрипел человек.

Лавочник протянул ему зеркало.

– Ну как? – спросил человек. – Лучше? Ведь всегда лучше? – спросил он, оборачиваясь ко мне.

– Не знаю... – пожал плечами я. – Смотря с чем сравнивать...

– Видите ли, я недавно женился, – сказал человек. – Еще раз... Жена моя намного моложе... Вот и я захотел несколько... Получше... Вы понимаете?

– Нет, – сказал я. – А зачем? Ведь если она вас любит, значит, таким, как увидела в первый раз...

– Вы слишком молоды, – раздраженно сказал лавочник. – И вообще – при чем здесь любовь? Где это видано, чтобы люди женились по любви?

Я оглянулся по сторонам. Человек с новым лицом тем временем убежал – ему было некогда. Лавочник свирепо смотрел на меня.

– Чем болтать чепуху, лучше бы взял да примерил какую-нибудь.

– Зачем? – удивился я. – Я хочу оставаться самим собой, мне нечего прятать, бояться или стыдиться.

– Это ты по молодости да по глупости так рассуждаешь... Оттого у вас и ошибок в жизни полным-полно, что у вас что на уме, то и на языке... Все свободу вам подавай, искренность, честность, – скривился Лавочник. – А оттого одни неприятности!

Мне вдруг стало смешно и любопытно.

– Хорошо, – сказал я, – дайте мне примерить...

– Какую? – Лавочник изогнулся в поклоне.

– Не знаю...

– У меня богатый выбор. Для каких целей? Чем она страшней, тем лицо должно быть милее, приветливее... Хотя есть и безобразные лица, внушающие жалость и сострадание... Это тоже иногда нужно.

Я растерялся. Я просто хотел поиграть в эту игру. Но игра выходила какая-то страшная и неприятная...

– Для каких целей? – переспросил, теряя терпение, Лавочник.

– Вот эту... – сказал я наугад.

– О-о, чудесный выбор... Маска послушного мальчика, пай-мальчика... Смотри, какие розовые ушки и щечки, какой чистенький носик, и к глазкам твоим подходит. Глаза у тебя светлые, чистые... Ты, наверное, и в самом деле такой? А?

Он протянул мне маску, я легко натянул ее и посмотрел в придвинутое ко мне зеркало.

У, какая смазливая рожа!

Я почти не чувствовал маску на своем лице. Но когда захотел ее снять, почувствовал, что не могу это сделать. Я царапал кожу руками, маска натягивалась и противно хлопала, но не хотела сниматься. Я растерялся и вспотел от злости.

– Что, не получается? – спросил с видимым удивлением Лавочник. – Добротный товар! Фирма гарантирует!

Я пыхтел, пытаясь содрать маску с лица. Ничего не получалось.

– Не нравится?! – зло прошипел Лавочник. – Разве ты не хочешь быть таким – чистеньким, хорошим мальчиком?.. Тебе бы многое прощали... Тебе бы завидовали... Как легко и просто тебе стало бы жить на свете...

Я напрягся из последних сил и с кровью, со своей кожей, наконец, сорвал ненавистную маску.

– Дурак, – заорал Лавочник. – Ты сам отказываешься от своего счастья! Тебе будет трудно! Ты пропадешь!

Его голос затихнул вдали. Я бежал со всех ног подальше от страшного места.

– Кто вы? – спросил меня человек, сидевший на тротуаре у входа в свой дом.

– Художник.

– Послушайте, у меня есть для вас интересные вещи, – обратился ко мне человек. – Пойдемте со мной, я покажу.

Через пыльные, запущенные, полупустые комнаты мы пришли в ту. Там был серый свет, висело на стенах несколько картин. Хозяин стал открывать окно. Рамы разбухли. Хозяин сотрясал окно, и вдруг одно стекло, старое и пыльное, распалось на куски. Я посмотрел, как оно падает: в комнате стало светлее, потянуло свежим воздухом, я повернулся. И увидел прямо перед собой картину.

На ней была изображена женщина, и в руках ее – письмо. В старинном, невиданном платье она стояла между окном и занавесом, но свет был не с улицы, он возникал из нее и проливался на тонкие руки, проступал на лице совершенной, законченной красоты. Голубое и желтое. Золотое и голубое.

– Вам понравилось? – спросил хозяин. И неожиданно прибавил: – Я когда-то любил натурщицу.

– Она была натурщицей?

– Да кем она только не была. Даже ездила с бродячим цирком.

– Она любила вас? – оглянулся я со страхом на нее, впрочем, простив ей даже Хозяина.

– Нет. Она никого не любила из нас, и ей не нравились наши города. Хотя она кого-то любила, кажется. Не могла же она совсем никого не любить...

– Где она теперь?

– Не знаю. Знаю одно – она жива. Когда умрет – я почувствую.

Хозяин дома был спокоен, как будто он уже смирился и теперь смотрит только со стороны на то, что происходит.

– Скажите, Художник, что будет? – спросил он.

– Не знаю, – сказал он.

– А кто знает?

– Наверное, никто, может быть, Странник. Мой друг Президент говорил, что все возвращается на свои места. Со мной тоже происходят вещи, которые уже случались. Немного скучно. Я могу рисковать сколько угодно – я знаю, что не умру. Впрочем, это уже риск. Почему не умру? Потому, что еще не закончен мир. Никто, я думаю, не может умирать, пока не закончит свой мир, свое дело. Да, я скоро закончу. Вы думаете, я останусь молодым?

Не знаю. Мне кажется, что к тому времени я сделаюсь совсем старым. И умирать будет не страшно. Очень утомляет, когда через тебя, как по коврику, прошло много людей, целый мир. Самое страшное, сколько бы я ни знал, как бы много ни чувствовал, я остаюсь несовершенным. Я не могу, не имею права кого-либо судить. Теперь я знаю, в чем виноват. Я мог бы вам дать много всего: хлеб, мясо, фрукты, но я не могу нарисовать для вас справедливость... Я не могу нарисовать для вас женщины в голубом.

– Где вы научились рисовать? – спросил Хозяин.

– Я плохой художник, я не могу защитить мир, который создал.

– Что же вы дальше будете делать?

– Я скоро уйду от вас. Мне трудно здесь. Нет, не с вами, а трудно жить временно, а труднее всего путешествовать... Уже наскучило, все повторяется. Я устал. Знаете, Хозяин, есть еще один мир, он считается самым настоящим. Туда просто уйти. Нет, вы не сможете, впрочем, и не захотите. Я пришел к вам из этого мира. Но все время жить здесь нельзя. Я чувствую, Хозяин, как я состарился. У меня сердце мальчика, а душа отягчена знанием и сомнениями всех, с кем я встречался.

– Вы Создатель? – спросил вдруг Хозяин.

– Ну что вы!

– Нет, вы Создатель! – сказал Хозяин с жаром. – Я это сразу понял. Скажите, что с нами будет?

– Какой свет в окне, – сказал я. – Луна. А знаете, я никогда не рисовал ее, мне казалось, что в мире и так светло...

– Вы уходите? Вас проводить?

– Не надо.

– Останьтесь...

– Нет, – твердо сказал я. – Я должен рисовать. Мне остался последний коралловый риф, который нужен для того, чтобы об него разбивались корабли.

XI

...Ночью я захотел пить, встал и пошел на кухню. Проходя по коридору, я услышал громкий шепот – разговаривали мать с отцом. Удивительно: когда люди ссорятся в гостях или ночью, они начинают говорить каким-то особым, громким шепотом, который пронзительней и резче, чем крик.

Я вошел в кухню. В темноте привычные вещи – наш старый буфет, громоздкий холодильник, стол, ступья – все выглядело таинственно и незнакомо. Это было как чужая страна, и находиться в ней и интересно, и жутковато одновременно. Я представил это и тут же почувствовал, как покрылся мурашками от страха. А может, от холода.

Когда я наливал воду из-под крана, мне показалось, что кто-то встал у меня за спиной. Я замер и потом резко повернулся, расплескав воду из любимой кружки на босые ноги.

Но не успел я вскрикнуть от неожиданности – шум в комнате у родителей усилился, уже говорили в полный голос.

– Я устал, устал от этой жизни, – твердил отец.

Послышались странные звуки. Я не сразу понял, что это плакала мама. Я уже не раз видел, как она плачет. И меня поразило, как она плакала сейчас

там, в своей комнате, рядом с отцом, который не утешал ее, не хотел уте шать ее.

– Подумай хоть о мальчике, – сказала, всхлипывая, мама.

"О мальчике..." Обо мне, что ли? А что думать обо мне? Я уже взрослый. И нам с мамой ничего не страшно.

– Я уже не могу спокойно смотреть на этого оболтуса, – сказал отец.

– Это же твой сын...

"Да?!"

– Ты посмотри, чем забита его голова – какими-то островами, войнами солдатиками... Бред какой-то... Да он вообще, наверное, чокнутый.

"Где же я уже слышал эти слова?"

– Как ты можешь, как ты можешь...

– Да, могу! Мне надоело жить в этом приюте для умалишенных. И ты, и твой сыночек... Он идиот, к тому же без пяти минут инвалид, неужели ты не понимаешь, а носишься с ним...

– Не смей! – закричала мама.

У меня сжались кулаки, и я весь напрягся, как пружина, готовая ра прямиться.

Но тут дверь их комнаты распахнулась, отец прыжками добежал до двери, прозвенели ключи, хлопнула дверь, и он помчался вниз по лестнице.

Я вышел из кухни и закрыл входную дверь. Я увидел, как мама лежал на постели и плакала. Она была одета в юбку и свитер, и я понял, что они начали ругаться еще вечером и ругались все это время, пока я спал. Ру гались, ругались и ругались, подбирая самые обидные, самые жестокие слова. Они били ими, как пощечинами, они вспоминали разные мелкие обиды и взращивали их до крупных оскорблений. Они говорили, говорили. И совсем забыли обо мне...

Я вошел в комнату и встал около плачущей мамы.

– Не надо, мам... – попросил я и положил ладонь на ее волосы.

– Сыночек... – Она подняла голову, села, обняла меня и прижала к себе.

– Он не вернется больше, – с отчаянием повторяла она, – не вернется.

– Вернется, – злорадно сказал я. – Как же он без нас...

– Нет. – Мама покачала головой. – У него есть другая. Я теперь точно знаю.

– Другая?

Все это уже не вмещалось в моем сознании. Какая "другая" может быть у отца, кроме нашей мамы – самой красивой, самой доброй, самой... Зачем ему "другая"? Он что, с ума сошел? А еще про меня говорит...

Злость туманила мне голову. Мир рассыпался...

Я принялся за поиски. Должны же у нас быть где-то деньги. Я вспомнил, как Мишка рассказывал, как он крал деньги на сигареты, обшаривая кар маны отца и отбирая по нескольку монет в день. Но теперь у меня отца не было, у мамы карманы были на единственном ее костюме, и залезть в них при любой нужде я бы не смог.

Мне и по квартире шарить было неловко, но я успокаивался, что деньги нужны были не мне одному, а маме. Надо было сходить на рынок купить фрукты, о которых говорила мне врач, соки. Да и сам я уже съел все наши немногие припасы и чувствовал, что помираю от голода.

Денег нигде не было. Я обшарил все закоулки, перетряс все полки в шкафу, выдвинул все ящики стола, даже под матрацы заглянул, но нигде ничего не нашел.

Под диваном валялась сушка. Я сдул с нее пыль и захрустел. Потом решил, что надо есть помедленнее, а еще лучше запивать водой.

Потом я вспомнил, что можно сдать пустые бутылки. Я обрадовался и понесся на кухню.

Но винные и пивные бутылки уже были сданы отцом еще перед его уходом, а молочных осталось всего две. Но я и им обрадовался. Тщательно вымыв, положил в авоську и, напевая, пошел их сдавать.

В магазине я поставил их перед пожилой женщиной в застиранном черном халате. Она молча взяла их и поставила в ячейки металлического ящика. Потом повернулась ко мне и, вытащив откуда-то пачку лотерейных билетов, спросила:

– Билетик не желаете, молодой человек?

Лестно было слушать это обращение – "молодой человек", но я тут же представил, что мои долгожданные тридцать копеек превратятся в бумажку, которая если даже и принесет выигрыш, то, наверное, не раньше нескольких месяцев, и, краснея, угрюмо буркнул:

– Нет...

– Как хотите, – вздохнула приемщица. – Завтра тираж. Один тут стиральную машину выиграл, деньгами взял. Так приходил, благодарил.

Что-то завертелось у меня в голове. А вдруг и правда? Ведь тираж-то – завтра. Значит, еще три-четыре дня, и мне может повезти. Бывают же небольшие выигрыши – по двадцать рублей. И они, наверное, часты, их много – для утешения таких же, как я, – не ждущих от судьбы большего. А для меня это были громадные деньги. Я мигом прикинул, сколько всего я бы смог купить на них себе и маме. И не быть ни от кого зависимым. Проклятые деньги!

Я колебался. Приемщица уловила мое настроение и стала настойчивее.

– Возьмите, молодой человек.

Как только она повторила это свое "молодой человек", я тут же ощутил себя им, молодым человеком, распрямил свои щуплые плечи, подтянулся и даже, кажется, стал выше ростом.

Старушка, кажется, подпрыгнула от радости.

"Им, наверное, премию за это платят", – с тоской подумал я, получая новенький глянцевый билет.

Я вышел на улицу и побрел домой, стараясь не глядеть на сумки людей, выходящих из магазина.

Я шел по улице, когда меня окликнул знакомый голос. Я остановился и обернулся. Сзади стоял отец.

Он смущенно-растерянно улыбался. Он стал подходить ко мне осторожно, мелкими шажками, как охотник. Я напрягся.

– Не бойся, – сказал отец.

– А чего это я должен бояться?

– Я знаю – ты не любишь меня...

– Ишь ты, любви захотел, – хмыкнул я.

– Что с мамой? – спросил отец.

– А тебе какое дело? Ты же теперь не наш.

– Перестань! – крикнул отец и тут же сморщился, как от зубной боли.

– А будешь орать – повернусь и уйду.

– Ну ладно... – Голос отца помягчал, он подошел совсем близко.

– Что с мамой? Она заболела?

– А что ты так волнуешься? – продолжал я упрямиться.

– Слушай, давай поговорим серьезно... – Отец стал озираться по сторонам. – Только давай где-нибудь присядем вначале...

– Я с тобой никуда не пойду... – заявил я.

– Да что ты заладил. – Отец попытался разозлиться, но тут же справился с собой.

– Я хочу узнать: что с мамой? Мне сказали, она заболела, лежит в больнице. Это правда?

– Да, – сказал я.

– Что с ней?

– Сердце.

– Что-нибудь серьезное?

– Врач сказал, что еле откачали...

– Мне ее можно видеть?

Я так крутнул головой, что она чуть не оторвалась.

– Нет.

– Нельзя... – растерянно сказал отец. Он сразу сник и стал жалким и измученным.

Я посмотрел на него и вдруг увидел слезы в его глазах.

– Папа... – сказал я.

– Сынок...

Он шагнул вперед и обнял меня. Мы прижались друг к другу и заплакали.

– Я виноват, виноват... – бормотал отец.

Я уткнулся в его грудь, от него шел такой знакомый, родной запах, это был мой отец – злой, раздраженный, усталый, веселый, добрый – но мой отец, и я чувствовал, что никакая сила никогда не сможет отнять его от меня.

– Я так боюсь за нее, – сказал он.

Я молчал. Я сегодня уже был в больнице и видел белое пергаментное лицо мамы, сливающееся с белыми простынями, и белыми стенами, и белыми халатами врачей и медсестер.

Она не могла говорить и лишь смотрела на меня большими глазами, полными слез, муки и тревоги.

– Хочешь пить? – спросил я.

Она опустила веки.

Я встал, взял чашку с длинным носиком и поднес к ее синим, бескровным губам.

"Спасибо, – сказали глаза. – Как ты?"

– Не волнуйся, – сказал я, стараясь говорить помедленнее и спокойнее. – У меня все хорошо. Вчера пятерку получил. По географии. Тетя Вера кормит после школы. У меня все хорошо...

Глаза закрылись, и я почувствовал, как ужас ледяной водой обдал меня. Я подался вперед, готовый закричать. Но тут глаза открылись и посмотрели на меня.

– Ты устала? – спросил я.

"Да", – сказали глаза.

Я поцеловал маму в холодную щеку и медленно на цыпочках вышел из палаты.

– О чем ты думаешь? – спросил отец.

– Ты вернешься? – спросил я.

– Нет, – покачал он головой.

Меня словно по лицу ударили. Как?!

– Понимаешь, – тихо сказал отец, – я люблю эту женщину. Мы оба любим друг друга.

"Неправда! – закричало все во мне. – Неправда! Какая любовь – ты старый и глупый. И любить можно только нашу маму – больше никого..."

Но вслух я ничего больше не сказал.

– Не сердись, – устало сказал отец. – Я много передумал и пережил. Все не так просто.

Я молчал.

– Вот вырастешь и все поймешь.

А я подумал, что необязательно вырастать, ведь я уже и так вырос и знаю, что любовь – это не то, отчего плохо другим. Любовь может приносить лишь радость, счастье, а если горе – другим, не тем, кто любит, это уже не любовь...

– У тебя есть деньги? – спросил отец.

– Да, я купаюсь в деньгах...

– Ну вот, опять ты... – огорчился отец.

Я вдруг увидел, как он стал резко удаляться от меня, уменьшаться в размерах. И стал такой маленький-маленький...

– Что с тобой? – спросил отец.

– Ничего.

Он протянул руку, хотел погладить меня, наверное. Но я увернулся от него. Что я ему – кошка?

– Ну, я пойду... – сказал отец. – Если что будет нужно, звони...

Я молчал.

– Обязательно позвони...

Я молчал.

– Ну, пока...

И он пошел, не оглядываясь. С каждым шагом он выпрямлялся и словно освобождался от тяжкого груза, походка становилась все быстрее и все уверенней.

Он шел к своей любви. К своему счастью.

XII

Ночью я опять долго не мог уснуть и решил сделать это с помощью моего давнего и верного способа. Я ведь так долго не был на своем Острове! И вдруг с удивлением понял, что совсем не соскучился по нему и жителям. И мне уже было все равно, что с Президентом и с девочкой, у которой лицо как у привозной обезьянки, и что даже со Странником...

"Как же так? – думал я. – Ведь я всех их выдумал, создал и жил, особенно когда мне было совсем туго, с ними, делил с ними радости и горести,

участвовал в их войнах, придуманных мной, и был по-своему счастлив, живя этой сказочной жизнью.

Однако теперь что-то изменилось, разрушилось. В эти дни, когда ушел отец, а мама была в больнице, со мной что-то произошло. Я сильно изменился. И весь мир вокруг меня изменился тоже.

Сначала я шел напролом, через лес, обдираясь об кусты, наталкиваясь на деревья, и потом вышел на тропинку, которая будто светилась под яркой, полной луной. Я не думал, куда она меня приведет, и не беспокоился: теперь я уже хотел назад, в свой мир, и знал, что попаду туда. Я никогда не мог уловить момент перехода от своего мира в мир моей планеты, это случалось, когда я хотел; я только старался, чтобы это происходило вдали от людей: что бы они подумали, если бы я исчез у них на глазах?

Неожиданно лес кончился, и тропинка вывела меня на дорогу. Я остановился, не зная, куда идти дальше... Дорога была широкая, белая, блестящая и уходила направо и налево, насколько было видно. Один край ее поднимался высоко вверх, чуть ли не в небо. И тут я все вспомнил. То время, когда был Гонщиком, все мои сны, когда белая машина уносила меня в ту страну, которую я никогда не умел нарисовать, а просто знал о ее существовании. Это была дорога в Идеальную страну, о которой я почти никогда не думал, но и на миг не выпускал из мыслей.

Я бросился вверх, на подъем, ноги мои были легки, и дорога звенела, но тут же я вернулся, и снова побежал, и увидел, что бегу в другую сторону.

Я был один.

– Послушайте! – кричал я. – Видите? Это и есть та страна! Идите сюда! Там хватит места всем! Там есть все, что захочет каждый! Идите сюда! Там очень хорошо!

Я был один.

Под черным небом, под яркой луной метался я по дороге, звенели серебряные белые камни. И кто-то смеялся в лесу.

Я был один.

Тогда я сошел с дороги и пошел прямо. Если б передо мной было озеро, я бы пошел по воде, если бы передо мной были стены, я бы прошел сквозь камень, если б передо мной было место, где умирают все люди, я бы не остановился и умер.

Я выбился из сил и лег, раскинув руки, чтобы моя усталость перешла в землю, мне было не под силу тащить на себе тяжесть всего мира.

Утром, когда просветлело, я увидел, что лежу под окном какого-то дома. Я быстро поднялся, пока меня не увидели, и пошел домой, заглядывая по пути в темные витрины магазинов. Отвлекался и снова смотрел и всякий раз, отразившись четырнадцатилетним подростком, успокаивался.

Уже давно у меня было опасение, что однажды я вернусь домой взрослым человеком, таким взрослым, что, может быть, и не влезу в этот мир. И я не мог представить, что стану тогда делать.

...Последний риф был нарисован, и я отступил от карты. Сверху я видел белую пену, вскипающую там, где риф проступал над поверхностью, и вода вокруг него была светлая, зеленее всего моря. До сих пор о риф разбивались только волны, но уже корабль с грузом пряностей шел к нему.

Передо мной были два полушария моей планеты. Я оглянулся назад. На

другой стене висела карта двух полушарий Земли. Как жутко они были похожи и различны.

Я был оглушен. Океаны словно переливались с одной планеты на другую, я не мог различить островов и материков – все путалось, а ведь свою планету я рисовал по подобию Земли и теперь не знал, какая из них моя Родина.

Я чувствовал, что мне надо выбирать.

А прибой планеты, которую я создал, бился за моей спиной, как крылья.

Города мои говорили разными голосами и на разных наречиях, леса рождались и умирали, звери проходили по жизни с улыбкой в глазах, и самый последний моллюск скрипел и шуршал, создавая в себе жемчужину.

Я сжал ладонями голову и увидел себя через много лет.

...Я знал все. Я был стар и опытен. Я не хотел ничего для себя и ничего для других. Я не ждал смерти, но и не хотел продолжения жизни. Я был стар и одинок.

Каждое утро мне приносили все газеты мира, я читал в них заголовки и смотрел фотоснимки. Потом я ходил по поселку и раздавал эти газеты соседям, а если хозяев не было, оставлял их на крыльце или бросал во двор.

Я не знал только одного – когда в газетах появится объявление об открытии нового Острова. Если появится, то мои детские карты не врали; меня стали мучить подозрения, что выдуманный мною мир существует. Не могло же пропасть и сгинуть столько людей! Я пересматривал географические атласы в надежде найти пропавший Остров.

Я очень хотел найти его, маленький островок, с кольцевой трамвайной линией, огибающей его по побережью. Я поселился бы там с мамой, и со мной жил Президент через улицу и мы бы ходили к нему в гости...

Я снова повернулся к своему миру. На мгновение мне вспомнился странник, мне показалось, что я перевоплощаюсь, нет, скорее переливаюсь в него, на мне затвердевает его лицо, и я весь приобретаю его форму и сущность. И одновременно мне открылось новое будущее – не поспевать к несчастью, быть гостем, проезжим.

Я стоял над окном мира, и мне надо было еще раз уяснить, что мне уже четырнадцать, я остался один, без мамы, а мои карты – это лишь разноцветные полосы на бумаге. Но теперь разобраться значительно сложнее, чем в начале создания мира; я, может, и обрадовался, если бы оказалось, что я его выдумал, что его нет на самом деле, но в том-то и беда, что он существовал. Мир был огромен, так велик, что каким бы большим я ни становился, я все равно оказался бы погребенным под его тяжестью. И мир этот был так мал, что весь помещался во мне.

Я сдернул карты со стен, сминая океаны, я скатал свою планету в трубку. Я бросил изрисованные листы в угол, отгородился от них своей спиной и стал рисовать маленький остров.

Остров тот был так мал, что его можно было измерить шагами. Там было все, что нужно: теплое синее море, песчаный золотистый пляж, в достатке еды и воды, жилье и прохладная тень от деревьев.

И не было ни пристани, ни лодки.

Я был там совсем один. И не особенно этому огорчался: я с детства привык к этому...

Но ушел оттуда.

Владимир СОКОЛОВ

Три стихотворения

ДАРЫ

1.

"Бойтесь данайцев, дары приносящих"

Это вовсе не те золотые дары,
Это даже и не золотые шары,
Не цветы, что провинция любит поныне.
Это вовсе, о, вовсе! – не то серебро,
Что ребячьей монетой встает на ребро.
Это даже не блеск серебристой полыни.

Это что-то иное, из жизни другой,
Что бытует под этой – раздетой, нагой –
И подсовывает золотые одежки,
Золотые потворства, кривые пути,
Помогающие на вершину взойти,
Словно бы по прямой и тернистой дорожке.

Это вовсе не те золотые дары,
Что бросает закат на дома и дворы.
Это вовсе не те, что в злотящихся чашах
Прямо в руки летят, никого не губя...
...О, поклонник данайцев, дары приносящих,
Я давно опасаюсь не их, а тебя.

2.

Я так долго смотрел на стакан воды,
Что в нем поднялась буря.
И теперь, чтоб не наделать беды,
Хожу я, глаза прищуря.

Стараюсь пристально не глядеть
На женщин или предметы,
Чтоб сути чьей-нибудь не задеть,
Своей не оставить меты.

Не вмешиваясь в чужие дела,
Считаю на солнце пятна...
А буря в стакане воды была
Просто невероятной!

3.

Люди не слышали, люди не знали,
Только событие произошло.
Птицы друг другу о нем сообщали,
Что-то от дерева к дереву шло.

Перемигнулись огни на канале,
Водное их отразило стекло.
Люди не слышали, просто не знали.
Только событие произошло.

Сумрак рассеивался над домами,
Таяло облако или крыло...
Медленно овладевая умами,
Солнце всходило, пока не взошло.

А случилось, о чем не напишут,
Что улыбнулось сегодня двоим, –
Люди не слышали и не услышат,
И не узнают – зачем это им?

Ян ФЛЕМИНГ

РОМАН

ОПЕРАЦИЯ

10

ЯХТА «ЛЕТУЧАЯ»

Первый вытащил из кармана белого, акульей кожи пиджака пахнущий дорогим одеколоном платок и вытер пот со лба. Время — двадцать два пятнадцать. На яхте целых полчаса — самолет опоздал. Зато сел отлично. И с летчиком — как бишь его? — управились быстро. Так что теперь они отстают от графика только на четверть часа. Если поисковая группа достанет бомбы легко, не будет резать металл — нагонят.

Первый сошел с мостика, спустился в радиорубку и велел соединить его со Вторым. "Мозг" яхты заработал. Радист подкручивал настройку, вслушивался, искал. Вот его быстрые пальцы замерли, он прибавил громкость, поднял глаза. Первый надел наушники.

— Я Первый.

Продолжение. Начало в № 3

— Я Второй, — донеслось слабо, прерывисто. Но это Блофельд. Первый узнал бы его скорее, чем родного отца.

— Все в порядке. Завершено в двадцать два пятнадцать. К следующему этапу приступаем в двадцать два сорок пять. Ждите доклада. Конец связи.

Звук пропал. Они разговаривали всего тридцать секунд. В такое короткое время и на этой частоте вряд ли кто-нибудь перехватит. Первый прошел в каюту и склонился над картой.

Сорокалетний Эмилио Ларго, он же Первый, был очень красив. Родом из Рима, он походил на древнего римлянина — такие профили чеканили на монетах: длинное, крупной лепки лицо, гордый, с заметной горбинкой нос, резко очерченный подбородок. Высок, подтянут, под пиджаком бугрятся мускулы. Белые рукава пиджака сливались сейчас с картой, и покрытые темной шерстью огромные ручищи рыскали по ней, точно дикие звери.

Ларго был прирожденный хищник — волк, задирающий овец. Лет двести назад быть бы ему разбойником, Синей Бородой, идти по трупам к золоту. Но Синяя Борода примитивен, недалек, как ни повернется — море крови. Ларго не таков. Он умен, тонок, следов не оставляет. Настоящий злодей-вельможа: светский человек, любимец женщин, богач. Лучшего Главнокомандующего по операции "Омега", а в Нассау Ларго прикидывался именно богатым бездельником, "Спектру" не найти.

В каюту постучали, вошел матрос:

— Со шлюпки просигналили. "Торпеда" с прицепом уже ушла туда.

— Хорошо, — бесстрастно сказал Ларго.

Обычно одно присутствие Первого охлаждало горячие головы. Даже если на карту поставлено все, он не суетится, спокойно осматривается, медлит и выжидает, как дзюдоист. На подчиненных его невозмутимость действовала безотказно. Принесут ему худую или, как сейчас, хорошую весть, а он почти равнодушен — значит, все знал наперед. С таким начальником не пропадешь...

А весть матрос принес замечательную! Ларго отложил циркуль и вышел из каюты в теплую, душную ночь.

От яхты к шлюпке полз под водой червячок света. Это и была "Торпеда" — небольшая подводная машина с рупевым управлением. Она тянула по дну остроносый прицеп. Световой червячок растаял в луче прожектора, а через несколько минут появился вновь, теперь он полз назад, к яхте. Другой на месте Ларго спустился бы в трюм, к подводному люку, посмотрел бы, как привезут атомные бомбы. Но он не пошел.

Вскоре световой червячок вновь пополз к шлюпке. На прицепе теперь огромный рулон брезента, выкрашенного под здешнюю подводную местность – белый песок, кораллы. Этим брезентом покроют самолет. Ларго виделось, как восемь человек работают там, внизу. Они столько готовились, тренировались, но вот теперь самолет настоящий,и каждый точно знает, что делать. Сколько же сил положено, как искусно сплетен этот замысел — "Омега"!..

Недалеко от шлюпки мелькнул огонек, потом еще — группа всплывала. Лунный свет отражался в стеклянных масках, и Ларго посчитал: все восемь человек. Подплыли к шлюпке, неловко поднялись в нее по лесенке, затащили "Торпеду", прицеп. Подводный прожектор выключили и тоже взяли на борт. Взревел мотор, и шлюпка помчалась к яхте. Здесь ее крепко зацепили кранами и подняли на палубу.

К Ларго подошел капитан, высоченный, тощий и мрачный, из канадского

флота уволен за пьянство и нарушение субординации, а на яхте стал как шелковый — однажды не выполнил приказа, и Ларго собственноручно изломал об него стул.

— Когда отправляемся? — спросил капитан.

— Через пять минут. Найдите мне Котце.

Глаза у физика Котце блестели, его трясло, как в лихорадке. Ларго добродушно усмехнулся:

— Что, хороши игрушки?

— Не то слово что хороши! Я еще таких бомб не видел! Простые, надежные...

— А в спусковые салазки они поместились? Работать не тесно?

— Нет, нет, не тесно! — Котце чуть в ладоши не хлопал. — Отлично работается! Носовые взрыватели мы быстро снимем, ввинтим часовой механизм. Кандински уже подбирает резьбу.

— А запалы, которые вставляются внутрь бомбы, ныряльщики в самолете нашли?

— Да. Под командирским креслом, в свинцовом ящике. Запалы я проверил — тоже очень простые! Хранить их будем, конечно, отдельно. Резиновые мешки для бомб водонепроницаемы, я проверял.

— Значит, вы всем довольны?

— Доволен. Пойду работать, — ответил он буднично и побрел по палубе.

Ларго проводил взглядом худенькую фигурку. Ну и чудаки эти ученые! Кроме науки, ничего не видят. Для Котце вся работа — гайки завинчивать, а о настоящей, опасной работе он и понятия не имеет. Впрочем, для настоящего дела он и не годится. Хорошо бы вообще от него избавиться. Но пока рано — вдруг придется взрывать бомбы.

Ларго поднялся на капитанский мостик и приказал:

— Полный вперед!

"Летучая" — моторная яхта на подводных крыльях. Построили ее в Италии специально для "Спектра". Корпус изготовили из сплава алюминия и магния, поставили два четырехцилиндровых двигателя с турбонагнетателями, и "Летучая" свободно делала около пятидесяти узлов с запасом хода в 4 тысячи миль. Стоила она дорого, но в багамских водах "Спектру" нужно было именно такое судно — скоростное, вместительное, с малой осадкой. Кроме того, суда такого класса не вызывают изменений магнитного поля и почти не создают волны, что весьма полезно, случись погоня...

Вот уже полгода яхтой восторгались и на Флориде, и на Багамах, и Ларго слыл достойнейшим из местных "миллионеров" — людей, у которых "есть все", а таких в этой части света немало. Постепенно раскрылась и "тайна" яхты: владелец ищет сокровища. Есть пиратская карта, обросший кораллами испанский галеон. Затонувшее судно уже найдено. Закончится зимний туристский сезон, приедут пайщики, и в самом начале лета, тихой, спокойной порой, к делу приступят по-настоящему. И действительно, однажды в Нассау съехались — с Бермудских островов, из Нью-Йорка, Майами — двенадцать пайщиков. А через два дня в сумерках мягко заурчали двигатели, и сине-белая красавица яхта со всеми искателями на борту вышла из гавани. И самое время выйти, рассудили в гавани. В открытом море двигатели рьяно взревели, и яхта, постепенно стихая, ушла на юго-восток. И в самом правильном направлении, рассудили в гавани (сокровища всегда искали в южной части островов).

Но отойдя подальше, яхта круто развернулась и устремилась как раз к

Рисунки Валерия КРАСНОВСКОГО

тому месту, которое теперь, встретив самолет, покидала. До Нассау всего сотня миль, два часа ходу: путь лежит не туда, есть еще одно важное дело, и в гавань (будто бы с юга) яхта вернется лишь с рассветом.

Ларго спустился в каюту и снова склонился над картой. Они шли хорошо знакомым путем — сколько раз тут бывали в любую погоду. До Собачьего пятьдесят миль, будут там через час.

Островок Собачий размером не больше двух теннисных площадок. Это сплошь мертвый коралл. Лишь в одном месте коралл пробит песчаной отмелью, и там в солоноватых дождевых лужицах растет морская трава да чахлые, скрюченные пальмы. Коварную отмель, Собачью банку, знают все и все держатся от нее подальше, даже рыбаки.

"Летучая" подошла к островку на большой скорости, потом сбавила обороты и еще поскользила, медленно оседая. Плеснули, всхлипнули короткие волны. Якорь ушел на сорок футов и закрепился. В трюме возле подводного люка ждал Ларго и еще четверо, все в аквалангах. Сейчас через решетку ворвется вода. Пловцы по двое держат за края куски полотна, а в этих полотняных люльках покачиваются огромные, обернутые серой резиной сигары.

Вода хлынула, затопила трюм; аквалангисты скользнули в люк — Ларго впереди, за ним, на строго выверенном расстоянии, обе пары. Ларго не сразу зажег фонарь: свет может привлечь акулу. Они плыли в легком серебристом тумане. Сначала внизу было мутно и пусто, потом показалась островная отмель, круто уходящая вверх. Коралловые ветви расходились тугим веером, как снасти крошечного кораблика, серые заросли таинственно переливались в лунном свечении, манили... Новичок испугается этих невинных подводных хитростей, оттого-то Ларго и повел группу сам. Одно дело — спуститься к затонувшему самолету: в ярком свете мощного прожектора видны знакомые очертания огромной машины — оказываешься точно в обычном цеху, и бояться нечего. Здесь же, в неведомом мерцающем подводном царстве, страшно, и нужен пловец тертый, бывалый. Кроме того, Ларго хотел посмотреть, как именно будут храниться бомбы.

Островок был сильно подмыт волнами и снизу напоминал громадный гриб. На ножке гриба темнела широкая расщелина. Ларго подплыл ближе и зажег фонарь: колыхался лес водорослей, водил желто-синими усиками лангуст, над бледными морскими ежами суетливо носились рыбы-бабочки и "морские ангелы"...

Через расщелину все прошли по одному в тесную, длиной шага в три подводную пещерку. Пещерка была похожа на дно колодца — узкий ствол вел на самый верх, на воздух, и в колодец заглядывала сейчас луна. В шторм из отверстия, прямо из середины островка, бьет фонтан, но в такое время вблизи Собачьего безлюдно. В стену вбили железные опоры, уложили на них бомбы в резиновых мешках и накрепко привязали. Ларго остался доволен. Понадобятся бомбы — придет и возьмет. А пока пусть побудут здесь, вдалеке от Нассау; яхту же хоть обыскивай...

Пятеро скользнули в подводный люк. Завелись двигатели, и "Летучая", едва касаясь воды, понеслась, а скорее именно полетела — домой.

Ларго вошел в радиорубку. Полночную связь он пропустил. Времени было час пятнадцать, а у Блофельда — семь пятнадцать утра.

Радист настраивался на волну, а Ларго думал пока о Блофельде. Вот он сидит, ждет — измученный, небритый. Перед ним — кофе, сколько же чашек он выпил за ночь! Ларго даже услышал кофейный запах. Теперь Блофельд

вызовет такси и поедет в турецкую баню, он всегда там отдыхает. И там же он, наконец, заснет.

— Я Первый.

— Я Второй.

— Очередной этап завершен. Все в порядке. Конец связи.

— Я доволен.

Ларго стащил наушники и подумал: "Я тоже. Дело почти сделано. Теперь нам никто не помешает, разве что сам дьявол".

11

ДОМИНО

Ярко-синяя двухместная машина пронеслась вниз по Парламентской улице до перекрестка с Бухтой. Загорелая девушка за рулем ловко переключала скорость, глянула направо — там рысил чалый конек, впряженный в покосившийся, с пестрой бахромой фургон — и перед самым фургоном лихо вывернула на Бухтовую. Конек сердито мотнул мордой, возница звякнул большим колокольчиком, но девушка лишь отмахнулась и через секунду затормозила возле "Трубки мира", лучшей в Нассау табачной лавки. Перекинула ноги через борт открытой машины (светлая плиссированная юбка взлетела при этом почти до пояса) и соскочила на землю. Тем временем подъехал фургон. Красота и отчаянность девушки смягчили возницу, но все же он проворчал:

— Тихоходу-то моему, почитай, в самую морду въехала. И чего спешишь?..

Девушка подбоченилась. Замечаний она не терпела.

— Сам ты тихоход! Дел много — вот и спешу. А вам обоим на травке пора пастись, а не по дорогам ездить. Только под ногами путаетесь!

Старик негр открыл было рот, но передумал и сказал примирительно:

— Оно, конечно, может быть, и путаемся...

Стегнул конька и тронулся.

— Хороша девка! — неожиданно вывел старик и пустил конька рысью.

Джеймс Бонд как раз подходил к лавке. Девушка действительно хороша, тут возница прав. Но Бонд знал о ней еще кое-что. Он прибавил шагу, отодвинул полосатую занавеску при входе, и на него повеяло приятной прохладой.

Девушка стояла у прилавка.

— Да поймите же, — втолковывала она продавцу, — мне нужны самые плохие сигареты, такие, чтобы курить не хотелось!

Продавец давно уже не удивлялся сумасшедшим туристам, да и вообще-то багамцы невозмутимы.

— Одну минуту, мадам. — Он неторопливо повернулся к полкам.

— Для тех, кто бросает курить, есть два сорта сигарет, — вмешался Бонд.

— А кто вы, собственно, такой? — спросила она.

— Меня зовут Джеймс Бонд. Хотите расскажу, как бросить курить? Всемирно известный способ.

Девушка оглядела его. Раньше она его в Нассау не видела. Высок, лет тридцати пяти. Темноволос, довольно красив, только черты резковаты. Ясные серо-голубые глаза посмеиваются: мол, ладно, рассматривай... На правой щеке бледный шрам, а загар совсем легкий — значит, на остров приехал недавно. Явно набивается в ухажеры. Ну что ж, пусть...

— Рассказывайте.

— Нужно перейти либо на очень слабые сигареты, либо на очень крепкие. Вам рекомендую слабые. Дайте "Герцог" с фильтром, — обернулся он к продавцу.

И они вышли из лавки. Жара стояла невыносимая. Слепили сверкающие витрины напротив, беленные известкой дома, белая дорожная пыль. Оба сощурились.

— Кто курит, тот, наверное, и пьет, — сказал Бонд. — Может, посидим где-нибудь?

Девушка посмотрела насмешливо:

— Какое неожиданное предложение! Ну хорошо, мистер, как вас... Бонд. Только не в городе, здесь слишком жарко. Знаете ресторанчик "Причал"? Поехали, я на машине. Металл не трогайте — обожжетесь.

Жгло даже обтянутое белой кожей сиденье. Но Бонду было все равно. Ему повезло — первый раз вышел в город осмотреться и сразу встретил нужную девушку. А она еще и красавица!

Нынешним утром Бонд просматривал сотню анкет приезжающих. Его новую знакомую зовут Доминетта Витали. Родилась в итальянской Тироли, значит, течет в ней и австрийская кровь. Двадцать девять лет, в графе "профессия" написала: актриса. Приехала шесть месяцев назад на яхте "Летучая". Очевидно, любовница владельца. "Итальянская потаскушка", — в один голос сказали полицейский комиссар Харлинг и начальник таможенной службы Питман; но сам Бонд потаскушками считал только уличных профессионалок да обитательниц борделя и так уверенно говорить бы не стал. Сейчас он видел, что был прав. Девушка своевольная, решительная, с сильным характером. Может, и любит жить богато, весело — но почему бы и нет? Может, и спит со многими, даже наверняка спит, но условия при этом диктует сама.

Многие женщины водят машину аккуратно, осторожно, но почти никто — отлично. Эта вела по-мужски: не отрывала взгляд от дороги, следила в зеркале за тем, что сзади, — обычно в зеркало заднего обзора женщины заглядывают только тогда, когда красятся. И по-мужски любовно чувствовала машину.

С Бондом она не разговаривала, как будто даже не замечала, и он смело разглядывал ее. Лицо отчаянное, бесшабашное. В любви, наверное, страстная, подумал Бонд. Сейчас, в профиль, глаза у нее — как темные щелочки, но в лавке Бонд хорошо их разглядел: темно-карие, с золотистой искоркой, смотрят прямо и дерзко. Чуть вздернутый нос, гордая посадка головы — во всем облике царственное, непреклонное. Четкую линию нарушали лишь легкие, беспорядочно разметавшиеся волосы да нежные ямочки на щеках; улыбается, наверное, очаровательно. Хотелось бы посмотреть. Впрочем, о чем он думает? Работать надо, работать.

Мелькнул дорожный указатель: "До башни Синей Бороды — одна миля", за ним другой: "Ресторан "Пороховой причал" — первый поворот налево". Когда-то на Багамы захаживали знаменитейшие пираты западной Атлантики, а теперь романтическими названиями приманивают туристов.

Они оставили машину в тени казуарины и через небольшой зальчик вышли на террасу, устроенную на развалинах каменного причала. Растущие прямо на террасе миндальные деревья были подстрижены под зонтики. Бонд посмотрел на часы:

— Ровно полдень. Выпьете крепкого или послабее?

— Послабее. Двойную "Кровавую Мэри" и соку туда побольше.

— Ничего себе. А что же тогда крепкое? — удивился Бонд. — А мне водку с тоником.

— Слушаюсь, сэр, — сказал официант и неспешно удалился.

— Крепкое — просто водка со льдом, томатный сок смягчает. А вы давно здесь? — спросила девушка. — Что-то я вас не помню.

— Сегодня утром приехал. Хочу купить участок. Но пока миллионеры здесь, цены слишком высоки, вот я и приехал в конце сезона. А вы?

— Я здесь уже полгода. Я с яхты "Летучая", вы, может, ее видели — стоит на якоре в гавани.

— Такая длинная, стройная? Красавица!.. Ваша?

— Моего родственника. — Она внимательно посмотрела на Бонда.

— Вы и живете на яхте?

— Нет, мы снимаем участок у одного англичанина. Очень красивое место, тихое.

— Я как раз такое и ищу...

— Вот и прекрасно, мы через неделю уезжаем.

— Неужели? — Бонд заглянул ей в глаза. — Очень, очень жаль.

— Что за дурацкие намеки! — она вдруг засмеялась и как будто смутилась. — Простите, я не хотела так резко... Но понимаете, я уже полгода слушаю эти песни, а с богатенькими только так: нагрубишь — отстанут. Здесь всем женщинам не меньше, чем за шестьдесят, слишком дорогой курорт для молодых, а старикам лишь бы кого помоложе. У них даже очки потеют от возбуждения. — Она снова засмеялась, уже по-дружески.— А вы наверняка покорите здешних старушек.

— А на обед они что едят, вареные овощи?

— И запивают морковным и сливовым соком.

— Ну, тогда со старушками дружба врозь. На обед я ем только суп из моллюсков.

Она удивленно взглянула:

— А вы, оказывается, знаете местное поверье?

— Какое? Что суп из моллюсков возбуждает? А это поверье не только местное. В это верят везде, где водятся моллюски.

— Правда?

— Да. Часто суп подают перед первой брачной ночью. Кстати, на меня не подействовало.

— Как, вы пробовали? Вы разве женаты?

— Не женат, —улыбнулся Бонд. — А вы замужем?

— Нет.

— Значит, как-нибудь попробуем этот суп вдвоем, посмотрим, что будет.

— Вот это намек потоньше. Но от стариков вы все равно не далеко ушли.

Бонд решил, что пора к делу.

— Вы отлично говорите по-английски, а акцент вроде бы итальянский...

— Да, меня зовут Доминетта Витали. Но училась я в Англии, в школе, потом в Королевской академии драматического искусства. Родители считали, что девушке из хорошей семьи нужно именно такое образование. Вскоре оба погибли в железнодорожной катастрофе, и я бросила учебу, вернулась домой, поступила на сцену. Но знаете, в Италии совсем другая сценическая школа. Пришлось переучиваться. Все позабыла, а язык помню.

— А что же этот родственник, с яхтой? — Бонд кивнул на море. — Не прислал вам денег на учебу?

— Нет. Он не совсем родственник. Скорее друг, опекун.

— Понятно. — Бонд помолчал.

— А вы приезжайте к нам на яхту, — вдруг оживилась она. — Моего друга зовут Эмилио Ларго. Он сокровища ищет.

— Да что вы! — в свою очередь оживился Бонд. — Здорово! Хотелось бы с ним познакомиться. И как же он ищет? Есть карта?

— Не знаю. Кажется, есть, но мне ее не показывают. И в море меня с собой не берут. Он не один ищет, в деле много пайщиков. Они уже все приехали, сегодня вечером Ларго собирает их в казино.

— А вы-то сами что делаете целый день?

— Так, гуляю. Хожу по магазинам, катаюсь на машине, купаюсь. А еще беру кого-нибудь с яхты и плаваю с аквалангом.

— А меня как-нибудь возьмете? Я тоже умею.

— Как-нибудь... — Девушка деловито взглянула на часы и поднялась. — Ну, мне пора. Спасибо, хорошо посидели. В Нассау вас отвезти не смогу, мне в другую сторону. Вызовите такси.

Бонд проводил девушку до машины. Она села, включила зажигание.

— Может быть, увидимся вечером в казино, Доминетта?

— Может быть. Только не называйте меня Доминеттой. Я — Домино.

Колеса выплюнули песок, и маленькая машина понеслась по дорожке. На перекрестке остановилась и повернула к Нассау.

— Вот шельма! — улыбнулся Бонд и пошел расплатиться и вызвать такси.

12

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЦРУ

На такси Бонд поехал в аэропорт. В час пятнадцать прилетал человек из Центрального разведывательного управления — Ф. Ларкин. Бонд надеялся, что пришлют не мускулистого юнца с боксерской стрижкой, какому только бы посмеяться над глупыми англичанами да выслужиться перед вашингтонским начальством. Хотя — все равно, лишь бы привез запрошенную Лондоном новейшую аппаратуру: рацию и переносной счетчик Гейгера. Тем ЦРУ и ценно, что прекрасно оснащено.

Нассау, столица Багам, располагается на песчаном острове Нью-Провиденс. Здешние желтые пляжи считаются красивейшими в мире, но кроме них на острове ничего интересного нет — чахлый кустарник, казуарины, фисташковые деревья, ядовитые растения, да на западе — большое солоноватое озеро. По побережью — в роскошных садах миллионеров растут тропические цветы и пальмы, летают птицы (но и живность, и растительность привезены с Флориды), а в глубине острова из выжженной бесплодной земли торчат лишь скорбные кресты ветряков. Ехать в аэропорт было скучно.

Сам Бонд прилетел в Нассау сегодня в семь утра. Его встретили и отвезли в старомодную гостиницу "Королевская Багамия" — впрочем, и там уже переняли кое-что от американцев. Он принял душ, позавтракал и отправился в Правительственную резиденцию. На девять была назначена встреча с полицейским комиссаром, начальником таможенной службы и заместителем губернатора. Встреча прошла в точности, как он ожидал. Обещали во всем ему помогать (лондонские сверхсрочные и совершенно секретные телеграммы подействовали), но занятие его считали пустым и тихую, ус-

тоявшуюся жизнь маленькой колонии ценили превыше всего. Рыжеусый заместитель губернатора Роддик, блеснув пенсне, сказал рассудительно:

— По нашему мнению, капитан Бонд, огромный самолет в колонии спрятать нельзя. Приземлиться он мог только в аэропорту Нассау, верно, Харлинг? Мог, конечно, сесть и в море, но мы запросили по радио — нигде ничего не заметили. К тому же постоянно работает радар...

— Вы уверены, что постоянно? — перебил Бонд. — Мне показалось, что самолеты прибывают в основном днем, а ночью почти пусто. Может, ночью за радаром следят хуже?

Полицейский комиссар, подтянутый, военного вида сорокалетний мужчина, ответил задумчиво:

— Капитан Бонд, пожалуй, прав. Когда самолетов нет, за радаром не следят, это и начальник аэропорта подтвердит. Людей не хватает, среди работников много местных, с лондонскими им не сравниться. Да и радар слабенький, с низким горизонтом и малой дальностью — таким только за кораблями следить, а не за самолетами.

— Возможно, возможно... — Заместитель губернатора явно не собирался обсуждать качество радара и подготовленность местных работников. — А сейчас мы сообщим капитану Бонду о недавно прибывших на остров и о подозрительных лицах, как и поручил нам министр внутренних дел. — Последние три слова он произнес торжественно. — Прошу, мистер Питман.

Начальник таможенной службы, холеный багамец с живыми карими глазами, располагающе улыбнулся:

— Подозрительных лиц не замечено, сэр. Едут туристы, деловые люди, возвращаются домой местные жители. Нам поручили представить данные за последние две недели — вот, все анкеты у меня с собой... — Он тронул портфель.

— Я ищу группу человек в десять, двадцать, — снова перебил Бонд. — Держатся вместе. Скорее всего европейцы. У них свое судно и, может быть, самолет. Приехали, вероятно, совсем недавно. Я слышал, в Нассау часто встречаются представители торговых компаний, религиозные деятели... Те, кого я ищу, тоже вполне благопристойны, на обыкновенных бандитов не похожи. Нет ли таких на острове?

— Ну как же, есть! Очередные искатели сокровищ.

— Да бросьте, Питман! — пренебрежительно усмехнулся заместитель губернатора. — Уж их-то оставьте в покое, так вы бог знает до чего договоритесь... Вряд ли капитан Бонд заинтересуется этими богатыми бездельниками.

— Бездельники-то они бездельники, но ведь именно у них есть яхта и даже небольшой самолет, — задумчиво сказал полицейский комиссар. — И приехали почти все пайщики недавно. Вроде совпадает, а? Ларго вполне благопристоен. И матросы ведут себя безупречно; почти полгода здесь, и ни разу никто не напился.

Бонд ухватился за эту тонкую ниточку, провел еще два часа в таможне и в полиции и пошел погулять по городу: послушает сплетни, а повезет, может, встретит Ларго или кого-нибудь из пайщиков. И встретил Домино Витали...

В аэропорту Бонд велел шоферу подождать и вошел в здание, как раз объявили о прибытии рейса Ф. Ларкина. Ему еще проходить таможенный досмотр, заполнять анкету... И Бонд купил в киоске "Нью-Йорк Таймс". Заголовки по-прежнему кричат о пропаже "Защитника". Бонд уже дочи-

тывал передовую статью, и тут ему в самое ухо шепнули:

— 007? Вас приветствует 000.

Бонд резко обернулся. Да это же... Это Феликс Лейтер из ЦРУ! Какие дела они с ним проворачивали!

Лейтер улыбался, но руки не подавал: вместо правой у него металлический протез. Они обнялись.

—Черт тебя возьми! — воскликнул Бонд. — А ты знал, что работаешь со мной?

— А как же — ЦРУ знает все!

Лейтер получил багаж, довольно внушительный, уложил в бондовское такси и велел отвезти в "Королевскую Багамию". Из стоявшей неподалеку непритязательной черной машины вышел человек и направился к ним.

— Мистер Ларкин? Я из бюро по прокату. Вот ваша машина. Подойдет? Вы ведь сами просили какую-нибудь поскромнее.

Лейтер мельком взглянул.

— Подойдет. Не красавица, конечно, но и мне в ней не девочек катать.

— Позвольте ваше водительское удостоверение, сэр. Так, все в порядке. Распишитесь здесь... Будете уезжать, машину оставьте где-нибудь и дайте нам знать, мы заберем. Желаю хорошо отдохнуть.

Они сели в машину, Бонд за руль — Лейтер, видите ли, еще не привык к "английской манере водить машину задом наперед", как он обозвал левостороннее движение, а заодно он проверит, отучился ли Бонд лихачить на поворотах. Они выехали из аэропорта, и Бонд попросил:

— Ну, рассказывай. Ты же ушел в частные сыщики. Почему опять в ЦРУ?

— Из резерва, черт побери, призвали. Можно подумать, война началась. Протрубили тревогу, да и дернули меня и еще человек двадцать: все дела бросить, явиться в течение суток. Русские, думаю, что ли, налали? Явился, а мне говорят: пакуй чемодан, бери плавки, картишки и лети в Нассау. Я, конечно, обозлился. И что же мне там делать? — спрашиваю. — Играть в бридж и плясать танец "ча-ча-ча"? Тут они и раскололись: работать с Бондом. Ладно, думаю, раз этот ваш, как его, Н. или М., послал тебя, значит, жареным пахнет. Взял приборчики, какие вы просили, и поехал. Теперь рассказывай ты, старик. Рад тебя видеть, черт побери!

И Бонд подробно рассказал.

Подъехали к гостинице. Лейтеру вручили ключи, и они поднялись к нему, спросили два двойных сухих мартини и меню.

Через полчаса (им пришлось заказать еще по одному мартини) принесли обед — дорогой и невкусный. Ели молча, все более раздражаясь. Наконец Лейтер бросил вилку с ножом:

— Это не отбивная, а подметка! А от луковых колец по-французски француза бы просто стошнило, и к тому же, — он ткнул вилкой, — это вообще не кольца, а какие-то мерзкие овалы. Что будем делать, Ястребиный Коготь? — Он смотрел воинственно.

— Обедать где-нибудь в городе — это на будущее. А сейчас посетим "Летучую", поглядим на искателей сокровищ. Потом свяжемся с начальством по рации. — Бонд кивнул на чемоданы в углу. — Вечером пайщики собираются в казино, пойдем и мы, может, признаем кого-нибудь. Но главное — проверить, есть ли на яхте радиация. Достань-ка счетчик Гейгера.

— Сейчас. Счетчик — пальчики оближешь! — Лейтер раскрыл чемодан и вытащил словно бы фотоаппарат в кожаном футляре. Снял часы и надел какие-то другие, с проводками. Перекинул ремень "фотоаппарата" через

левое плечо. — Пропускаем провода вверх под рукавом. Теперь вниз и через дырку в кармане выводим оба разъема наружу и втыкаем в гнезда аппарата. Готово. Человек в часах и с фотоаппаратом. — Он расстегнул футляр. — Видишь, объектив, как у настоящего. Даже кнопка есть, можно щелкнуть. А внутри металлический клапан, электрическая схема, батарейки. Теперь смотри, какие часы. Часовой механизм очень маленький, и вот эта стрелка показывает не время, а радиоактивность — проводочками в рукаве она соединена со счетчиком. У тебя, я вижу, твои верные часы со светящимся циферблатом... Сейчас покажу, как счетчик действует. Сначала я просто хожу по комнате, проверяю, нет ли фоновой радиации. То и дело поглядываю на часы — ну мало ли, нервничаю, жду кого-нибудь. Стрелка не двигается. Но вот прошел мимо ванной, и стрелка отклонилась — там железные трубы. Запоминаю цифру — столько надо будет сбросить на фон. Теперь подхожу к тебе, счетчик рядом с твоей рукой. Смотри на стрелку. Видишь, как дергается? Это из-за фосфора на циферблате. Убираешь руку — стрелка успокаивается. Отличная штука! — Лейтер любовно похлопал по футляру. — У других счетчиков нет шкалы, они щелкают, и слушать надо чуть ли не в наушниках — так ищут, например, под землей уран. Нам-то такие чувствительные счетчики не нужны. Рядом с бомбой стрелка просто взбесится. Так что порядок. Садимся в "Трясучую" и едем на "Летучую".

"Трясучей" Лейтер назвал моторную лодку, которую можно было взять напрокат при гостинице.

13

"МЕНЯ ЗОВУТ ЭМИЛИО ЛАРГО"

Покинув гавань, они повернули на запад, миновали Серебряную и Долгую отмели, Шотландский остров, обошли мыс Делапорт. Миль пять плыли вдоль побережья, любовались особняками.

— Участки здесь дорогие — страсть! — сказал рулевой.

Потом обошли мыс Старого форта и сразу увидели сверкающую на солнце бело-синюю яхту — она стояла вдали от берега на двух якорях. Лейтер присвистнул:

— Вот это лодочка! Купи мне такую, мамуля, я буду пускать ее в ванне!

— Лодочка итальянская, на подводных крыльях, — сказал Бонд. — Не плывет, а летит, в штиль делает пятьдесят узлов. Конечно, годятся такие яхты только для прибрежных вод, зато могут перевозить — и быстро — до ста пассажиров. Стоит яхта не меньше четверти миллиона...

— На Бухтовой болтают, будто она вот-вот за сокровищами уйдет, — вмешался рулевой. — Пайщики-то все съехались. Раз уж выходили в море на всю ночь, видно, примеривались. Затонувший корабль, говорят, лежит где-то у южных островов — у Мертвого или у Сан-Сальвадора. Там еще Колумб высаживался, слыхали небось? В одна тысяча четыреста девяносто забыл каком. Вообще у нас тут кораблей с сокровищами полно — у Скалистых островов, к примеру, или у Разбойничьего. Но яхта, та на юг выходила, даже на юго-восток. Сам видел. — И рулевой аккуратно сплюнул за борт. — А дорогая она — страсть! Одна заправка — пятьсот фунтов!

— А когда она в море на всю ночь выходила? — как бы невзначай спросил Бонд.

— Два дня назад. Как заправилась, так вечером, часов в шесть, и вышла.

Они уже различали поблескивающие иллюминаторы. Матрос, драивший медные перильца вокруг башенки капитанского мостика, через люк поднялся на мостик и сказал что-то в микрофон. На палубу вышел высокий человек в белых парусиновых штанах и навел на лодку бинокль. Потом обернулся к матросу, и тот сошел с мостика, стал на правый борт, у лесенки. Когда лодка подошла поближе, матрос сложил руки рупором и крикнул:

— По какому вы делу? С кем хотите поговорить?

— С мистером Ларго по поводу его участка в Пальмире. Меня зовут Джеймс Бонд, я из Нью-Йорка, а это — мой поверенный.

— Сейчас доложу. — Матрос исчез и через минуту вернулся с прежним человеком в белых штанах, которого Бонд узнал теперь по полицейскому описанию.

— Причаливайте! — радушно пригласил человек и махнул матросу. Тот спустился по лесенке и помог причалить. Бонд с Лейтером выбрались из лодки, поднялись на палубу.

— Меня зовут Эмилио Ларго, — протянул руку хозяин. — Мистер Бонд, не так ли? А вы?

— Это Ларкин, мой нью-йоркский поверенный. Сам я англичанин, но кое-какие денежные дела у меня есть и в Америке. Извините, что побеспокоили, но мне хотелось бы поговорить об участке, который, если не ошибаюсь, вы снимаете в Пальмире у некоего Брюса.

— Не ошибаетесь, — он приветливо улыбнулся, сверкнув безукоризненными зубами. — Прошу в каюту. Простите, что не одет. Если бы вы предупредили по телефону... А теперь уж не обессудьте.

Через низкий вход они прошли к лесенке, поднялись, и он, пропустив их в каюту, мягко прикрыл за собой дверь.

В каюте просторно, красиво: стены обиты панелями из красного дерева, бордовый ковер, удобные синие кожаные кресла, большие квадратные иллюминаторы. Видно, что хозяин занят серьезными мужскими делами: длинный стол завален бумагами, морскими картами; в застекленных шкафах — пистолеты и ружья; в углу безвольно, точно мертвое чудище, повис черный костюм для подводного плавания, рядом — акваланг. Жужжал кондиционер, и Бонд с наслаждением почувствовал, как отстает от спины потная рубашка.

— Садитесь, пожалуйста, закуривайте. — Ларго небрежно сдвинул карты, бумаги и положил на стол пачку сигарет. — Выпьете чего-нибудь? — Он подошел к холодильнику. — Джин с тоником, пиво? Напрасно вы не поехали в такую жару в открытой лодке. Позвонили бы — я бы выслал за вами шлюпку с тентом.

Оба попросили просто тоника.

— Извините, что не предупредили вас о приезде, мистер Ларго, — начал Бонд. — Я и не знал, что с берега на яхту можно звонить. Мы прибыли на Багамы только сегодня утром и всего на несколько дней, вот и решили сразу заняться делом. Видите ли, я хотел купить участок.

— Это правильно, тут места превосходные! — Ларго поставил на стол бокалы, бутылку тоника и сел. — Я бы и навсегда остался. Вот только цены!.. Ни стыда, ни совести у этих бандитов с Бухтовой улицы. Правда, теперь конец сезона, спрос падает, и, возможно, продавцы образумятся.

— На это я и рассчитываю. — Бонд прикурил и откинулся в кресле. — Вернее, на это рассчитывал мой поверенный, он наводил справки и выяснил, что в разгар сезона цены здесь сумасшедшие. — Бонд вежливо

повернулся к Лейтеру — пусть тоже примет участие в беседе. Не так ли, мистер Ларкин?

— Невиданные, просто невиданные! Таких не просят даже на Флориде!..

— Да-да, конечно. — Ларго явно считал предмет исчерпанным. — Так что вы хотели узнать насчет Пальмиры?

— Ходят слухи, что вы скоро уезжаете, — сказал Бонд. — Знаете, на таком маленьком островке ничего не утаишь. А ваш участок мне вроде бы подходит, Брюс готов продать его за сходную цену. Я вот о чем хотел попросить... — Бонд смущенно кашлянул. — Нельзя ли как-нибудь приехать и осмотреть участок? Разумеется, если не помешаем...

— Конечно, приезжайте! — широко улыбнулся Ларго. — Сейчас там живет только моя племянница со слугами, да и ее целыми днями нет, так что вы никому не помешаете. Позвоните ей, договоритесь. А участок в самом деле хорош, и дом построен отлично. Брюс человек богатый и со вкусом.

— Вы очень любезны, мистер Ларго. А теперь мы откланяемся. Может быть, еще встретимся в городе, пообедаем вместе. Хотя вам, наверное, и на берег сходить не хочется. — Бонд старался говорить восхищенно. — Лучше вашей яхты, думаю, во всей Атлантике нет! Не ходила ли такая между Венецией и Триестом?

— Точно, ходила. — Ларго польщенно улыбнулся. — А еще как пассажирские такие ходят в Италии на озерах.

— Но, наверное, на яхте тесновато?

Ревнивая любовь к собственным вещам — свойство скорее мужское, чем женское. Ларго был уязвлен.

— Тесновато?! У вас есть несколько минут? На борту как раз много народу — экипаж и все пайщики, мы ведь ищем сокровища... Короче, на яхте сейчас сорок человек. Вот и смотрите, тесно нам или нет. Прошу. — Ларго поднялся.

— Вы помните, мистер Бонд, что на пять часов у нас назначена встреча с мистером Гарольдом Кристи? — вмешался Лейтер.

Но Бонд отмахнулся:

— Ничего, он милейший человек, подождет нас немного. Если только вы не торопитесь, мистер Ларго, я с удовольствием осмотрю яхту.

— Пойдемте, много времени это не займет. А Кристи я знаю, он мой приятель и действительно человек необидчивый. — Ларго распахнул дверь и придержал ее.

Бонд так и знал, что их будут пропускать вперед. Но тогда Ларго пойдет сзади и наверняка заметит, что Лейтер то и дело поглядывает на часы...

— Нет-нет, ведите нас, пожалуйста, — твердо сказал Бонд. — А то у вас и лоб расшибешь!

Ларго любезно улыбнулся и вышел первым.

В общем-то, все суда, даже самые современные, похожи друг на друга: длинные коридоры, куда выходят двери кают и душевых; камбуз — царство словоохотливых, смешливых коков; моторное отделение, где главный механик подробно расскажет о двигателе... Именно это и увидит гость на любом судне, и также побеседует с экипажем, и польстит хозяину.

На юте теснились маленький двухместный гидросамолет, сине-белый, как и сама яхта, вместительная шлюпка человек на двенадцать и подъемный кран. Бонд прикинул водоизмещение "Летучей", высоту надводного борта и спросил как бы между прочим:

— А что в трюме, тоже каюты?

— Нет, грузовой отсек. Там же и баки с топливом. Яхта — дорогое удовольствие, топлива приходится возить с собой несколько тонн. На таких судах важен правильный балласт: как нос задерется, топливо перемещается к корме. Поэтому для равновесия у нас баки длинные, бортовые. — Ларго говорил уверенно, быстро. Они как раз проходили мимо радиорубки, и Бонд снова спросил:

— Значит, с берега на яхту можно позвонить? А еще какое у вас оборудование? Покажите, я очень интересуюсь радио.

— Как-нибудь в другой раз, — вежливо отказал Ларго. — Радист ждет метеосводку: нам сейчас нужно точно знать погоду.

— Конечно, конечно.

Они поднялись на мостик, где Ларго коротко рассказал, как яхта управляется, потом снова спустились на узкую палубу.

— Вот такая моя "Летучая", — сказал Ларго. — И она, уверяю вас, и в самом деле летает. Как-нибудь прокачу вас с мистером Ларкиным. Но это попозже, а сейчас, — и он посмотрел заговорщицки, — мы очень заняты.

— Ну как же, сокровища! Твердо надеетесь найти?

— Твердо не твердо, но надеемся. Я бы вам подробнее рассказал, но, к несчастью, я, как говорится, нем. — Ларго, как бы извиняясь, взмахнул рукой. — Надеюсь, вы понимаете.

— Разумеется, пайщики просили молчать... Я, кстати, и сам бы вступил в долю. Не возьмут, конечно?

— Увы! Паи, как они выражаются, полностью расписаны. Жаль, но взять вас никак нельзя. — Ларго протянул руку. — Я вижу, мистер Ларкин уже поглядывает на часы. Приятно было познакомиться, мистер Бонд. И с вами также, мистер Ларкин.

Распрощавшись, Бонд и Лейтер спустились по лестнице в лодку и уселись на носу, подальше от рулевого.

— Счетчик не реагирует, — покачал головой Лейтер. — Есть немного радиации около моторного отделения и радиорубки, но это обычное дело. Да и вообще ничего необычного я не заметил, а ты?

— Я тоже. Разве какие-то мелочи... Во-первых, нигде нет спуска в трюм. Может, конечно, туда ведет люк, спрятанный где-нибудь под ковром, но как же тогда яхта загружается? Ведь Ларго говорил —там грузовой отсек. В кораблях я мало смыслю, но в трюме "Летучей" места наверняка полно. Надо бы уточнить, сколько же на борту топлива. Во-вторых, мы не встретились ни с одним пайщиком. Приехали мы на яхту часа в три — ну пусть кто-то из них и отдыхал после обеда, но не все же двадцать! Что же, просто так сидели в каютах? И еще одно: ты заметил — Ларго не курит, и вообще на яхте нигде табаком не пахнет. Сорок мужчин — и ни одного курящего?! Между прочим, в крепких преступных организациях дисциплина поставлена: не пьют и не курят. Но улик у нас пока нет... А систему наведения и эхолот заметил? Жутко дорогие штучки! На большой яхте они, конечно, нужны, ничего тут удивительного, но почему Ларго про них — молчок! Такими игрушками можно и похвастать. Впрочем, это я уж навожу тень на плетень. На "Летучей" решительно нет ничего подозрительного. И все-таки слишком уж бойко Ларго болтал о топливе и балласте, тебе не показалось?

— Пожалуй. Трюм-то у него с пол-яхты, какое топливо... Просто пускать не хотел. Но это можно объяснить: скажем, там устройства для подъема сокровищ, и он не хочет их показывать. А кстати, помнишь историю с тор-

говым судном в Гибралтаре во время войны? Оно еще оказалось базой итальянских водолазов-разведчиков? В корпусе под ватерлинией был потайной люк...

— Помню эту историю. — Бонд пристально посмотрел на Лейтера. — Судно "Ольтерра". Самая крупная неудача нашего управления во время войны. — Он помолчал. — "Летучая" стоит на глубине сорок футов. Что, если бомбы они закопали в песок под яхтой? Счетчик бы среагировал?

— Вряд ли. У меня есть и подводный — как стемнеет, можно сплавать, померить. Но знаешь, Джеймс, — Лейтер нахмурился, — это уж какая-то сумасшедшая идея: закопали в песок... Против Ларго никаких улик, разве что вид у него пиратский и женщинам наверняка проходу не дает. Ты запросил архивный отдел о нем, о пайщиках, экипаже?

— Послал срочную телеграмму. К вечеру ответят. И ничего не сумасшедшая идея, — упрямо сказал Бонд. — Вот слушай, Феликс: "Летучая" — быстроходное судно, на ней сорок никому не известных людей, и у них к тому же есть еще и самолет. Больше во всей округе ни одной мало-мальски подозрительной группы. Правда, и на самой яхте, в общем-то, нет ничего подозрительного — обычная поисковая экспедиция. Но представь на минуту, что Ларго врет. Врет, конечно, тонко, но у угонщиков и должно быть все до тонкости продумано. Смотри, что выходит: все так называемые пайщики прибыли до второго июня — это раз, в ночь на третье яхта вышла в море и вернулась только к утру — два. "Защитник" садится на мелководье, они встречают его, забирают бомбы и прячут их в надежном месте — хоть и в песок зарывают, под яхтой. Как тебе такая версия?

— Пока она ни на чем не основана, Джеймс, — пожал плечами Лейтер. — Давай, конечно, потянем за ниточку... Но лично я скорей застрелюсь, чем доложу эти фантазии начальству. — Он усмехнулся. — Если уж валять дурака, то втихую. Ну, что делаем дальше?

— Ты берешь рацию и налаживаешь связь, а я пока звоню девушке. Она нас приглашает, и мы едем смотреть Пальмиру. Потом в казино — поглядеть на пайщиков. А уж потом, — Бонд глянул на Лейтера, — я плыву с подводным счетчиком к "Летучей".

— Начинаются боевые выходы! Ладно, Джеймс, так и быть, я согласен, проверим твою версию. Только умоляю, не наступи на морского ежа — учти, завтра идем в танцевальный зал. Научимся танцевать "ча-ча-ча", а то, чувствую, о Багамах и вспомнить будет нечего.

В гостинице Бонда ждал губернаторский курьер. Он ловко взял под козырек и протянул конверт. Бонд расписался в получении. В конверте была телеграмма Министерства колоний на имя губернатора, с припиской "Для Бонда". Телеграмма гласила: "ПО ЛИЦАМ УКАЗАННЫМ В ВАШЕМ ЗАПРОСЕ 11 07 У АРХИВА НЕТ НИЧЕГО ТОЧКА ПО ОПЕРАЦИИ ГРОМ ВСЕ АГЕНТЫ ДОКЛАДЫВАЮТ ОТРИЦАТЕЛЬНО ТОЧКА ЧТО У ВАС ВОПРОС". Подписано "ПРИЗМА" — это значит, что одобрил сам М.

Бонд отдал телеграмму Лейтеру.

Тот прочитал и сказал:

— Видишь теперь, что я прав? Разваливается твоя версия. А нет нам на Багамах работы — будем отдыхать. Ну, я пошел, встретимся в баре "Ананасовый", выпьем по мартини. Хоть там наверняка плавает маслина величиной с кулак. А в Вашингтон я отправлю открытку с видом на море да попрошу доску для виндсерфинга...

14

МАРТИНИ

Целиком выполнить бондовский план не удалось. Домино Витали сказала по телефону, что сегодня в Пальмиру приехать нельзя: Ларго привозит гостей. А вот в казино она с Бондом, наверное, увидится. Ужинает она на "Летучей", яхта потом подойдет поближе к казино и станет на якорь. А как же Бонда узнать? У нее отвратительная память на лица! Пусть вденет цветок в петлицу.

Бонд засмеялся. Ничего, он ее сам узнает. По прекрасным голубым глазам, их он хорошо запомнил. Лет через пятьдесят к таким глазам очень пойдет голубая старушечья краска для волос. На том конце прыснули, и Бонд положил трубку. Ему вдруг сильно захотелось увидеть Домино.

А то, что яхта меняет стоянку, это здорово. В гавани легче ее осмотреть: и плыть не так далеко, и нырнуть можно незаметно, с полицейского причала. Кроме того, теперь можно исследовать и дно под прежней стоянкой. Хотя, будь бомбы зарыты там, разве отвел бы Ларго яхту? Так или иначе, корпус "Летучей" нужно осмотреть, может, тогда что-нибудь прояснится.

В номере за столом Бонд написал донесение для М. Общий смысл: догадка не подтверждается, на Багамах ничего подозрительного. М., конечно, расстроится. Не намекнуть ли, что кое-какие подозрения все же есть? Нет, рано. Разведчик не должен угождать начальству, выдавать желаемое за действительное. Бонд ясно представил, как обрадовались бы такому намеку в штабе операции "Гром". М. сообщил бы осторожно: "Не исключено, что мы ухватились за ниточку. Пока ничего определенного сказать не могу, но этот агент редко ошибается. Конечно, запросим, пусть доложит подробнее". И сразу разговоры: "У М. есть надежда, его агент вышел на угонщиков... Да, надо сообщить премьер-министру..." Бонд содрогнулся. Вот уж когда посыпались бы на него сверхсрочные телеграммы: "Доложите точнее", "Премьер-министр ждет подробнейшего доклада"... Лейтер будет получать такие же из ЦРУ, Нассау превратится в сумасшедший дом. А на бондовские жалкие "представляется вероятным" и "ходят слухи" ответят оскорбительно: "Это не доказательства. Удивлены вами. Полагайтесь только на факты". А потом и совсем добьют: "Ввиду необоснованного сигнала и его последствий в будущем все, повторяем, все донесения должны быть совместными, с подписью ЦРУ".

Бонд вытер пот со лба. Раскрыл чемоданчик с установкой, зашифровал донесение и отправился в полицию. Там за рацией уже сидел Лейтер, мокрый и злой. Через десять минут он снял наушники и дал Бонду.

— Сначала сплошные помехи, и я еле-еле нахожу запасную волну. — Лейтер вытерся уже насквозь промокшим платком. — А на ней отвечает какой-то болтун — вот, целый роман наговорил, разбирай теперь за ним! — Он сердито потряс листами в закорючках шифра и склонился над своей установкой.

Бонд быстро передал короткое сообщение. Ему увиделось, как на девятом этаже, в шумном отделе связи управления, ленту с расшифровкой принимают из машины, отдают начальнику, он надписывает: "Лично М. Копии в отдел 00 и в архивный отдел", и посыльный спешит по коридору, а из папки у него торчат желтые шуршащие полоски... Лейтер остался расшифровывать, а Бонд пошел к комиссару.

Харлинг сидел без пиджака и диктовал что-то сержанту. Сержанта он отпустил, придвинул к Бонду пачку сигарет и тоже прикурил.

— С чем поздравить? — добродушно-насмешливо улыбнулся он.

Бонд рассказал, что на запрос о Ларго и пайщиках ответ получен отрицательный, что они с Лейтером съездили на яхту, прошлись там со счетчиком и ничего не обнаружили. Но у него, Бонда, все же остались подозрения. Хотелось бы узнать, сколько на борту топлива и как именно располагаются топливные баки. Комиссар кивнул и снял трубку. Велел соединить его с сержантом Молони из берегового отделения полиции. Харлинг повторил вопрос Бонда, выслушал ответ, поблагодарил и повесил трубку.

— Максимальная вместимость — пятьсот галлонов дизельного топлива. Второго июня яхта столько и взяла. Еще на борту сорок галлонов смазочного масла и сто — питьевой воды. Хранятся баки в средней части перед моторным отделением.

А Ларго говорил — несколько тонн топлива, и хранится в трюме! Соврал все-таки. Не исключено, что прячет какие-нибудь поисковые и подъемные устройства, но ведь что-то прячет. То есть, может, Ларго и искатель сокровищ, но человек скрытный, увертливый, искренним только притворяется. И Бонд окончательно решился: корпус яхты осмотрит непременно. А ну как Лейтер недаром вспомнил про "Ольтерру"?

Бонд осторожно рассказал комиссару о предстоящей подводной разведке. Не найдется ли хорошего акваланга и надежного полицейского в помощь?

Помявшись, Харлинг спросил, разумно ли вообще проводить такую разведку, ведь яхта частная, ее обитатели люди вполне добропорядочные, находятся под защитой закона. Устроят скандал — хлопот не оберешься. А если еще выяснится, что замешана полиция...

— Что делать, комиссар, — сказал Бонд. — Я вас понимаю, но придется рискнуть. У меня важное задание, а вы действуете по приказу министра внутренних дел. — Он двинул в бой тяжелую артиллерию. — Если хотите, я сейчас же свяжусь с ним или с премьер-министром.

Харлинг покачал головой и улыбнулся:

— Зачем же из пушек по воробьям, капитан Бонд... Конечно, сделаем, как вы считаете нужным, мое дело предупредить. Значит, вот что. Я дам вам констебля Сантоса — надежный парень и отличный пловец. Он и акваланг для вас принесет. А теперь давайте-ка поподробнее...

В гостинице Бонд принял душ, выпил двойной бурбон и упал на постель. Он вконец изнемог — долгий перелет, жара. А вдруг он действительно ошибается с этой яхтой и, значит, какого дурака валяет и перед комиссаром, и перед Лейтером, и перед самим собой, да еще предстоит опасное и, может, ненужное плавание... Он уснул мгновенно, и снилась ему Домино, за которой гонится акула с ослепительно белыми зубами. Акула превращается в Ларго, и Ларго поворачивает и идет на него, тянется ручищами. Все ближе, ближе, вот уже хватает за плечо... И тут раздается гонг, раунд окончен, но в гонг ударяют еще и еще...

Бонд нашарил трубку. Лейтер. Пора выпить мартини, времени уже девять вечера. Какого черта Бонд возится, молнию ему, что ли, помочь на спине застегнуть?

Стены в "Ананасовом" были выложены бамбуком и покрыты защищающим от термитов лаком. На столах и вдоль стен стояли кованые подсвечники-ананасы, в них горели толстые красные свечки, еще светились

встроенные в стены аквариумы и под потолком — люстры в виде розовых морских звезд. Сиденья белые, на бармене и двух официантах алые рубашки и черные штаны.

Бонд подсел к Лейтеру за угловой столик. Лейтер заказал два мартини и заранее поморщился:

— Сейчас увидишь, что принесут.

Лейтер взял принесенный бокал и сразу кликнул бармена, которому сказал так:

— Дружище! Я заказывал мартини, а отнюдь не маслину в соусе. — Коктейльной вилочкой он выудил маслину из бокала; с ней бокал был полон на три четверти, а теперь осталась половина. — Этот фокус со мной проделывали, когда вы, уважаемый, еще пили исключительно молоко. А когда перешли на "кока-колу", я уж секрет разгадал. В бутылке джина ровно шестнадцать порций — настоящих, двойных, других я и не пью. Каждая порция на треть разбавляется водой, и их уже двадцать одна – двадцать две. Еще берется бокал с толстым дном и банка вот этих здоровых маслин, и порций выходит уже двадцать восемь. За два бокала вы просите доллар шестьдесят — столько стоит целая бутылка джина. На банку маслин и каплю вермута идет, скажем, доллар, так что чистой прибыли — двадцать долларов с бутылки. Не многовато ли, дружище? И когда бы не лень мне было снести этот бокальчик к директору гостиницы или в комиссию по туризму... Короче, сделайте нам два хороших мартини без маслин да отдельно на блюдечке тонко порежьте лимончик.

Бармен успел и возмутиться, и проникнуться уважением, и испугаться, а под конец совсем сник. Пытаясь сохранить достоинство, он выдавил: "Слушаюсь, сэр", щелкнул пальцами официанту и неспешно удалился.

— Феликс, а ты не ошибся? — спросил Бонд. — Я знаю, конечно, что обманывают, но чтобы двадцать долларов с бутылки?

— Юноша, когда я ушел из ЦРУ в частные сыщики, у меня просто открылись глаза. В гостиницах и ресторанах не то что обманывают, а обдирают без всякой совести. Возьми хоть сегодняшний обед — семь долларов и пятнадцать процентов наценки, а в рот не возьмешь. И официант тебе еще в глаза заглядывает — дай ему пятьдесят центов за то, что он это рвотное тебе в номер на лифте поднял! Чертовщина какая-то! — Он взъерошил светлые волосы. — Давай о чем-нибудь другом поговорим, а то лопну от злости.

Принесли мартини. Крепкий, неразбавленный. Лейтер успокоился и заказал по второму бокалу.

— Давай позлимся по другому поводу. — Он усмехнулся. — Например, по такому: вот скажи, что мы с тобой вынюхиваем в этой песчаной дыре? Какие тут, к черту, угонщики?! Честно тебе скажу, Джеймс, на яхте я себя с этим счетчиком чувствовал идиотом. А ты нет? — Он пристально посмотрел. — Не война ведь, мирное время, а мы все в военные игры играем.

— Для вас, американцев, может, и мирное, а Англия по-прежнему воюет, то тут стычка, то там — Берлин, Кипр, Кения, Суэц, а со смершевцами сколько хлопот... Теперь вот "Защитник" угнан. А насчет яхты — сдается мне, с ней все-таки дело нечисто. Я проверил, сколько топлива на борту. Ларго-то нам соврал. — И Бонд рассказал подробно. — Ночью нырну, посмотрю. Замечу что-нибудь — возьмем полицейский гидросамолет и полетаем над морем, поищем. "Защитник" — такую махину даже под водой трудно спрятать. Ты умеешь самолет водить?

— А что там уметь, — пожал плечами Лейтер. — Да полечу я с тобой, полечу! Дай-то бог что-нибудь найти, а то от сегодняшнего сообщения из штаба я прямо чуть с ума не сошел!

Так вот отчего он весь вечер злится.

— Что за сообщение? — спросил Бонд.

Лейтер отпил немного и мрачно уставился в стол.

— Пентагоновское. Генералы делают красивый жест... Всем, занятым в операции, сообщается: сухопутные войска, Военно-морской флот и Военно-воздушные силы готовы оказать ЦРУ всемерную поддержку. Как тебе нравится? — Он сердито глянул на Бонда. — Это значит, всю армию приведут в боевую готовность. Деньжищ ухлопают! Да мне одному, в личное подкрепление, знаешь что дается? — Он хрипло хохотнул. —Пол-эскадрильи истребителей-бомбардировщиков "Мощные" из Пенсаколы и... "Манта"! Представляешь?! "Манта" — новейшая атомная подводная лодка! — Бонд улыбнулся его горячности, и Лейтер чуть сбавил тон. — Фантастически дорогая техника — в подчинение мичману Лейтеру, штаб командования в номере 201 гостиницы "Королевская Багамия". Каково?

Но Бонд пожал плечами:

— Просто президент относится к делу серьезнее, чем его агент в Нассау. Наши военные наверняка тоже подготовились. Не огорчайся, Феликс, лишние штыки не помешают — чует мое сердце, первую бомбу спектровцы подложат в багамское казино... Кстати, что думают в ЦРУ по поводу цели для бомбы? У нас в этом районе есть только ракетная база на острове Большая Багама, примерно в ста пятидесяти милях отсюда.

— А у нас — мыс Канаверал и база ВВС в Пенсаколе, а для второй бомбы — Майами. Вот только как они доставят бомбы к цели и как взорвут?

— Насколько я понял, если забрали запалы из самолета, взорвут запросто, нужен только знающий физик. Да и доставят на чем угодно — хоть на шлюпке. А хоть и на яхте. Вот "Летучая", например, в полночь может оставить бомбу у Большой Багамы, а к утру уже стоять на якоре у Пальмиры. Все против "Летучей"... — улыбнулся он.

— Чепуха, — отрезал Лейтер. — Пошли-ка лучше поужинаем яичницей долларов за сто. А потом зайдем в казино, поглядим, с какими пиратами мистер Ларго режется в карты.

15
МОРЯК ИЗ МЕЧТЫ

На всей территории Британского содружества существовало только одно легальное казино — в Нассау. И существовало оно непонятным образом, вопреки всем британским законам. Каждый год казино сдавалось канадскому игорному синдикату и в удачный сезон приносило 100 тысяч фунтов дохода. Играли тут в рулетку, в "двадцать одно" и в "железку". Устроено казино было в богатом доме на Бухтовой улице на манер клуба: кроме игорного зала, просторный танцевальный, ресторан с оркестром, уютный бар.

Губернаторский курьер вручил Бонду с Лейтером членские билеты, и они просидели сначала в баре, выпили кофе и коктейль, а в игорном зале разошлись к разным столам.

Ларго сидел за "железочным". Перед ним высилась груда стодолларовых жетонов, чуть в стороне лежало штук пять тысячедолларовых. Рядом

курила и наблюдала за игрой Домино Витали; в квадратном вырезе ее черного платья поблескивал на тонкой цепочке крупный бриллиант. Ларго играл смело, часто ставил ва-банк. Все время выигрывал, но головы не терял, не зарывался, и партнеры улыбались ему, аплодировали удачной игре — он явно был всеобщим любимцем. Домино же смотрела угрюмо, скучала. Дама справа от Ларго, третий раз поставив ва-банк и крупно проигравшись, встала из-за стола. Бонд быстро подошел и сел на освободившееся место. Каждый кон Ларго увеличивал ставку, и в банке у него было уже восемьсот долларов.

А когда банкир выигрывает три раза подряд, в банке, как правило, прибавляется. Это Бонд знал. У него же самого, увы, только тысяча долларов. Вокруг только и твердили, как удачлив итальянец, но не всегда же ему будет везти!

— Иду ва-банк, — сказал Бонд.

— А-а, мой старый знакомый, мистер Бонд. — Ларго протянул руку. — Теперь игра пойдет сильная. Не передать ли вам сразу банк? Но, должен сказать, вам я даже проигрываю с удовольствием. — И он любезно улыбнулся.

Ларго легонько надавил рычажок карточного устройства, из щели высунулся розовый язычок карты, и Ларго бросил ее Бонду.Следующую взял себе, выдавил еще по одной. Бонд посмотрел первые и выложил, открыв, на стол — бубновая девятка.

— Хорошее начало. Беру вторую.

Открыл и бросил рядом с девяткой — десятка пик! Если только у Ларго не девять или девятнадцать очков, Бонд выиграл!

Тот засмеялся, но несколько натужно, и открыл карты — червоная восьмерка и король пик. Тоже комбинация, но у Бонда лучше. Ларго проиграл одно очко, так обидней всего проигрывать.

— Кому-то надо быть и вторым, — громко сказал он. — Так я и знал, мистер Бонд удачлив.

Крупье пододвинул Бонду кучку жетонов. Бонд кивнул на груду подле соперника и заметил:

— Мистер Ларго тоже. Предлагал же я взять меня в долю.

Тот рассмеялся:

— А давайте еще раз сыграем. Ставьте, что выиграли, а мы с мистером Сноу пойдем ва-банк.

Мистер Сноу, хмурый европеец (пайщик, вспомнил Бонд), кивнул. Бонд поставил восемьсот, а они против него по четыреста. И он опять выиграл, и опять на одно очко.

Ларго покачал головой:

—Все ясно, сдаюсь, мистер Сноу, играйте-ка дальше сами. Со мной против мистера Бонда, видно, не выиграть. — Он улыбался, но смотрел зло.

Пайщик пододвинул Бонду выигранные тысячу шестьсот долларов. "А забавно было бы сейчас передать банк, — подумал Бонд, — пусть банкир проиграет". Он снял ставку и сказал:

— Пас.

За столом взволнованно зашумели.

— Что вы делаете! — театрально возопил Ларго. — Хотите, чтоб я перекупил и проигрался! Хорошо же, я покупаю банк. Еще посмотрим... — Он подвинул на середину стола стопку жетонов на тысячу шестьсот долларов.

— Иду ва-банк, — произнес вдруг Бонд.

IDU VA BANK !

Ларго заглянул ему в глаза, по-прежнему улыбаясь, но с новым, внимательным прищуром.

—Да вы нарочно против меня играете! Что это, кровная месть?

"Интересно, среагирует ли он на слово?" — подумал Бонд и ответил:

— Что вы, какая месть! Просто я, когда подходил к столу, заметил такое свечение, спектр. — Он произнес это слово легко, без нажима.

Ларго будто ударили, он нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. Однако он весь подобрался, напрягся, прищурился зорче:

— То есть?

— Спектр невезенья над вашей головой. Вот я и решил, что удача от вас отворачивается. — Бонд говорил все так же легко, будто шутя. — Проверим?

За столом смолкли, игроки чувствовали, что зреет схватка. Шутка обращалась оскорблением, англичанин явно вызывает. Не из-за женщины ли? Все затаили дыхание.

Ларго расхохотался. Он снова изображал весельчака.

— Я понял! — громогласно воскликнул он. — Уважаемый мистер Бонд хочет сглазить мне карты. А мы на это вот так отвечаем! — Он выставил указательный палец и мизинец вилкой и ткнул в сторону Бонда. За столом тоже захохотали, но Бонд видел, что вилка — известный жест мафиози — нацелена по-настоящему, грозно и зло.

— Ну вот, теперь вы меня сглазили, — добродушно рассмеялся он. — Только целить надо было в карты, а не в меня. Посмотрим, каков ваш спектр против моего...

На лице Ларго снова мелькнула тень. Он надавил рычажок:

— Давайте. Два раунда мы отбоксировали. Третий, главный!

И быстро выкинул четыре карты. За столом боялись шевельнуться. Бонд взял свои две, заглянул. Десятка треф и червоная пятерка — пять очков. При пяти трудно решиться, брать или нет. Он положил карты, не раскрывая. И сказал так, будто у него на руках шесть или семь очков:

— Не беру.

Ларго с отвращением бросил раскрытые карты на середину стола: у него тоже пять очков. Брать, не брать? Он посмотрел на невозмутимого Бонда — и взял. Девятка пик. Не возьми он, у них вышло бы поровну, а теперь у Ларго четыре очка против пяти.

Бонд неспешно открылся.

— Говорил же вам, цельте в карты...

Между игроками поднялся шепот:

— Если бы итальянец не взял... Я всегда беру при пяти... Не повезло ему...

У Ларго опустились уголки рта, сжались кулаки. Но он овладел собой, улыбнулся, глубоко вздохнул и протянул Бонду руку:

— Вы отобрали весь мой выигрыш, теперь придется целый вечер отыгрываться. А я-то собрался пригласить племянницу в ресторан. — Он повернулся к Домино: — Дорогая, это мистер Бонд, с которым ты говорила по телефону. Из-за него я буду играть весь вечер, так что ищи себе спутника.

— Очень приятно познакомиться, — сказал Бонд. — Кажется, мы виделись сегодня в табачной лавке?

Девушка нахмурилась и ответила равнодушно:

— Возможно. Я плохо запоминаю лица.

— Можно, вашим спутником буду я? По милости мистера Ларго я теперь богач! А в карты я сегодня больше не играю, не хочу искушать судьбу.

Она поднялась и бросила небрежно:

— Ладно, пойдемте. Эмилио, я увожу его, играй, тебе снова повезет. А я буду есть икру и запивать шампанским, и деньги, что ты проиграл, он все равно потратит на меня.

— Видите, мистер Бонд, — рассмеялся повеселевший Ларго, — вы попали из огня да в полымя! Ну что ж, прощайте.

— Благодарю за игру. Мы будем в ресторане. Выпьем шампанского за мой спектр удачи.

И снова Ларго нахмурился. Что это — только ли итальянская боязнь сглаза? Вслед за девушкой Бонд вышел из игорного зала.

В ресторане Домино направилась к самому дальнему, тонущему в полумраке столику, и тут Бонд заметил, что она чуть-чуть прихрамывает. Это совсем не вязалось с уверенным, неотразимо-ярким обликом "куртизанки высшей пробы", как, вероятно, назвали бы Домино французы.

Бонд заказал розового шампанского "Клико" и на пятьдесят долларов белужьей икры (а меньше нет смысла и спрашивать, объяснил он, не заметишь, как съешь).

— Что у вас с ногой? — спросил он. — Ушиблись на пляже?

Она посмотрела серьезно:

— Нет, просто одна немного короче другой. Вас это огорчает?

— Наоборот, очаровывает. В вас сразу появилось что-то беззащитное, детское.

— Во мне, уже далеко не юной содержанке... Вы это хотели сказать? — Она смотрела с вызовом.

— А вы так о себе думаете?

— Так думают обо мне в Нассау. — Она не отводила глаз, но в них вдруг мелькнула мольба.

— Ни от кого не слыхал. И как бы то ни было, у меня есть собственное мнение. Сказать, какое?

— Конечно. Только не завирайтесь, а то не буду слушать.

— Вы еще совсем молоды, хоть и притворяетесь опытной, все испытавшей. Росли в богатстве, имели, так сказать, кусок хлеба с толстым слоем масла и вдруг остались почти нищей. Решили заработать на хлеб с маслом сами и обнаружили, что просто так не заработаешь, придется драться. Вы женщина и оружие избрали женское — свое тело; это оружие надежное, только пользоваться им надо хладнокровно, забыв о чувствах. И вы забыли. Впрочем, сдается, чувства ваши не умерли совсем, вы просто заставили их замолчать. Теперь у вас есть все, вы богаты, и, пожалуй, богатство вам даже прискучило. — Он рассмеялся. — Добавлю еще несколько штрихов, а то портрет слишком мрачный. Вы красивы, привлекательны, своевольны, вспыльчивы. И жестоки.

— Особой проницательности вам не понадобилось. Кое-что я сама рассказала, кое-что вы знаете об итальянках вообще. Вот только почему жестока?

— Когда проигрываешься, как Ларго, а твоя спутница все видит, но не утешит и не подбодрит — она поступает жестоко. Мужчинам неприятно проигрывать на глазах у женщины.

— А мне надоело, что ему все время везет! — перебила она. — Мне хотелось, чтоб сегодня выиграли вы, и притворяться я не собиралась. Кстати, вы не упомянули мое единственное достоинство — честность! Эмилио знает, что я к нему равнодушна, но ему и не надо, чтоб его любили, а только подчинялись. Отрабатывать же, как вы выражаетесь, хлеб с маслом

мне все трудней и трудней... — Она умолкла на полуслове. — Налейте-ка еще шампанского, выпьем, а то глупый у нас разговор. И купите мне сигареты "Моряк", я соскучилась по своему любимцу.

— По кому это? — спросил Бонд, купив пачку.

— О, вы ничего не знаете! — Она вдруг повеселела, горькие складки у рта разгладились, голос зазвенел. — По верному любовнику — по моряку из мечты! Видите, вон он — нарисован на пачке. Это лучшая картина на свете. Вы, конечно, ее никогда внимательно не рассматривали; как мой моряк прекрасен! Он — моя первая любовь. Он открыл мне целый мир, воспитал меня, научил не стесняться мальчишек, не поддаваться тоске и страху, он был моим лучшим другом, советчиком. В этой картинке как будто ничего особенного нет, но вглядитесь — в ней целая жизнь... Я расскажу вам историю моряка с броненосца "Герой", видите, так написано на бескозырке. — Она сжала Бонду руку. — Сначала он плавал юнгой на парусном суденышке, вон оно нарисовано в углу. Приходилось туго, но он все выдержал, моря не бросил. Он ведь очень упорный — видите эту складку между бровей, гордый поворот головы? Он вырос и стал настоящим моряком, отрастил усы. — Она замолчала и залпом выпила целый бокал. — Дальше рассказывать? Вы не скучаете?

— Я ревную. Рассказывайте.

— Матросом он объездил весь свет — был в Индии, Китае, Японии, Америке. У него было много женщин, он часто дрался — и на кулаках, и на ножах. Но матери и сестренке писал отовсюду. Они так и хотели, чтоб он вернулся, даже девушку ему присмотрели, женился бы и жил вместе с ними. Но он не спешил. Он мечтал совсем о другой девушке, примерно такой, как я. — Она улыбнулась. — А потом изобрели пароходы, и он поступил на броненосец — вот этот корабль, справа. Через несколько лет сделался боцманом, остепенился, бросил гулять и драться, стал откладывать деньги. Чтобы выглядеть старше, отрастил бороду, замечательная борода, правда? А как-то раз купил иглу, цветные нитки и взялся вышивать свой портрет, с первым парусником и с теперешним броненосцем. Закончил портрет и решил уйти из флота: не лежала у него душа к пароходам. И ушел, ведь был уже боцманом. И одним прекрасным вечером он вернулся домой. Много он повидал моряком, но такого красивого, тихого вечера не видел ни разу и решил обязательно вышить еще одну картину. На сбережения купил закусочную в Бристоле и каждое утро, до открытия, вышивал. Вот корабль, на котором он с рундуком, полным шелковых отрезов, морских раковин и деревянных статуэток, плыл домой от Суэца, а вот маяк, мигавший ему из родной гавани в тот чудесный вечер. Красиво у него вышло, верно? Я вырезала эту картинку из первой в жизни пачки сигарет.

— Но как же картины моряка попали на пачку? — подстроился Бонд.

— Однажды в закусочную к моряку зашел человек в цилиндре, с двумя маленькими мальчиками. "Джон Плейер и сыновья" — это они и были. Видите, написано, что их потомки и сейчас владеют табачной фабрикой... А тогда "роллс-ройс" Плейера, один из первых автомобилей в Англии, сломался как раз у закусочной. Человек в цилиндре, конечно, не пил — бристольские деловые люди не пьют — и спросил лишь пива и бутербродов с сыром. Плейер и мальчики ели и любовались двумя картинами на стене. А надо сказать, что сигареты тогда только-только придумали, и этот самый Джон Плейер, табачник, решился их делать. Но не знал, как назвать и что нарисовать на пачке. Вот ему в голову и пришла идея. Он предложил моряку

сто фунтов за обе картины, и тот согласился: он как раз собирался жениться, и ему нужно было ровно сто фунтов. Табачник сначала хотел, чтоб на одной стороне пачки был моряк с парусником и броненосцем, а на другой — вечер. Но тогда негде было бы поставить торговую марку и написать: "Крепкие, ароматные, табак матросской резки". И Плейер наложил одну картину на другую. По-моему, вышло неплохо... Ладно, спасибо, что терпеливо выслушали. — Домино словно очнулась, голос стал тверже, глуше. — Глупо, конечно. Но в детстве вечно насочиняешь историй... Или привяжешься, например, к какой-нибудь кукле и ни за что не расстаешься. И мальчишки такие же. Мой брат носил металлический талисман, который ему еще няня подарила, до девятнадцати лет. А ведь уже тогда был летчиком, воевал. Потерял — такой скандал закатил! Талисман, мол, счастье приносит! — Она пожала плечами и добавила иронически: — Впрочем, счастье ему и без талисмана улыбнулось — разбогател. Но мне никогда не помогал. В жизни, говорит, каждый сам за себя. Вот наш дед (все знали, что браконьер был и контрабандист), а надгробье на кладбище в Больцано все равно богатейшее. Брат говорил, из всех Петаччи самое богатое надгробье будет у него самого, чем угодно денег заработает, хоть и контрабандой.

Сигарета заплясала в пальцах, Бонд едва унял дрожь. Глубоко затянулся и медленно выпустил дым:

— Так ваша настоящая фамилия Петаччи?

— Да, Витали — это сценический псевдоним. А настоящей фамилии никто не помнит, я и сама о ней почти забыла, как вернулась из Англии — стала Витали. Всю жизнь сменила, не только имя.

— А что же стало с вашим братом? Как, кстати, его зовут?

— Джузеппе. Хорошего человека из него, увы, не вышло, но летчик он отличный; последнее, что знаю, — служит в Париже, получает кучу денег. Может, теперь успокоится. Я за него каждую ночь молюсь. Больше у меня никого нет, и плох он или хорош — я его все равно люблю, понимаете?

16

ПОДВОДНАЯ РАЗВЕДКА

В ржавые опоры полицейского причала чмокали черные волны, светила уже убывающая луна, и под причалом лежала решетчатая тень. Констебль Сантос, огромный мускулистый негр, взвалил на спину акваланговый цилиндр, и Бонд застегнулся, стараясь не запутаться в ремнях: на нем еще висел подводный счетчик. Над водой буйно разносились резкие металлические звуки из ночного клуба "Старьевщик" — музыканты играли на кастрюлях и сковородках.

— Акулы сюда заплывают? — спросил Бонд.

— Бывает, что и акулы, но чаще барракуды. Да в гавани, сэр, эти твари ленивые, сытые — нажираются всяких отбросов. Покуда крови не учуят, не тронут. На дне тут грязища, бутылки, хлам, но сама-то вода прозрачная, чистая, и луна вон как светит, да и с яхты огни вам будет видать — не заплутаете. Доплывете минут за пятнадцать. Пузырьков с борта не углядят — сегодня малость волнит. Хотя кому там и глядеть, что-то на палубе никого, и в рулевой рубке...

— Ладно, я пошел, жди через полчаса. — Бонд поправил у пояса нож, закусил трубку. Открыл воздушный клапан, прошлепал ластами по влаж-

ному песку и вошел в море. Наклонился, окунул в воду маску, чтобы потом не потела, надел. И, переступая пока по дну, привыкая дышать ртом, медленно тронулся. Скоро вода достала до подбородка, и он нырнул. Под ним круто уходило вниз, он спустился к самому дну, глянул на светящийся циферблат — двенадцать десять — и поплыл, мерно толкаясь ластами, прижав руки к бокам.

Сквозь рифленую, чуть волнующуюся поверхность проникал бледный лунный свет, и валявшиеся повсюду старые покрышки, консервные банки, бутылки отбрасывали на серое дно тени. Небольшой коричневый осьминог почуял поднятую Бондом волну, тут же посерел и юркнул в укрытие — канистру из-под бензина. Черная тень Бонда летела по дну, и студенистые полипы, по ночам вырастающие, точно цветы, из песка, снова прятались. Укрывались, заслышав волнение, и прочие мелкие ночные твари: зарывались в ил, уползали в раковины. Бонд вторгся в чужой мир, где живут загадочные, неведомые существа... И он вглядывался в этот мир внимательно, как исследователь. Так сохраняют спокойствие под водой — наблюдаешь за мирной живностью и уже не думаешь о чудовище, что вот-вот вынырнет из серого зловещего тумана.

Скоро тело привыкло плыть, само делало свое дело, и Бонд, чтобы не сбиться с дороги, лишь подставлял луне правое плечо. Думал он о Домино. Она сестра летчика, который, может быть, и угнал самолет! Просто совпадение, и Ларго об этом не знает? Она же говорила, что ее настоящая фамилия никому не известна, и, кажется, говорила искренне. Но все-таки к прочим полууликам против Ларго прибавляется еще одна. И как он хмурится при слове "спектр"! Испугался сглаза? Трудно сказать. Явных улик почти нет, но не таков ли айсберг — над водой холмик, а под водой целая глыбища?..

Древнее животное чутье человека в обыденной жизни дремлет, но в минуту опасности вдруг просыпается. Бонд плыл спокойно и думал о своем, а чувства помимо его воли обострились и скомандовали: "Внимание, опасность!"

Бонд выхватил нож и обернулся направо — так подсказывало чутье.

Барракуда, если она достаточно велика, — опаснейший морской хищник. Туловище у нее гладкое, серебристо-стальное, вытянутое, точно снаряд, пасть раскрывается чудовищно широко, под прямым углом, как у гремучей змеи, хвост огромен, могуч. В скорости, мощи и свирепости с барракудой сравнятся не многие. Такая и вынырнула сейчас из серого, скрывающего даль тумана и поплыла как раз по его границе, в одну сторону с Бондом. Она явно охотилась — тигриный, черный с золотом глаз внимательно и бесстрастно смотрел на Бонда, приоткрытая пасть сверкала зубами в свете луны.

Бонд содрогнулся, осторожно глянул на часы — до яхты плыть еще минут пять. Резко развернулся и, целя в легкие, пугнул барракуду ножом. Та лениво махнула хвостом и отплыла подальше, но не отстала, а так и следовала за ним, неотвратимо, неспешно — должно быть, решала, что ухватить вначале — плечо, ногу?

Главное — не выдать страха, вспомнил Бонд, барракуда чувствует труса, как собака и лошадь. Вести себя спокойно, уверенно, двигаться равномерно и ритмично, не дергаться, не спешить. В подводном мире суетится и мечется лишь слабый, беззащитный. И Бонд плыл и плыл, не останавливаясь, мерно работал ластами, пусть барракуда видит — он сильный, неуязвимый.

Дно под ним изменилось, пошли заросли морской травы — она мягко и лениво шевелилась, точно густая шерсть под ветерком. У него закружилась голова. Среди травы чернели мячики мертвой губки — пока не попортил грибок, ее вывозили с острова, продавали. Поляна качалась, и по ней скользили две тени: неуклюжая, похожая на летучую мышь, и четкая пикообразная.

Впереди показался целый отряд мелкой рыбешки. Рыбки висели рядами, густо и неподвижно, точно привязанные друг к другу, — так их и сносило течением. Когда пловцы приблизились, рыбки мгновенно в двух местах расступились, и каждый поплыл в своем широком коридоре. Сквозь серебристое облако Бонд взглянул на барракуду. Та двигалась спокойно и равнодушно, хотя вокруг столько рыбы — так лисица, подстерегая курицу, не смотрит на кроликов. Бонд плыл, как заведенный, не быстрей и не тише: только в размеренности его спасенье, только так можно внушить преследовательнице, что он и сам силен, грозен. Рыбки сомкнулись за ними и снова замерли в привычном строю.

Огромный якорь лежал среди волнующейся травы, как чудище, цепь от него терялась вверху, в тумане. Наконец-то! Бонд даже о барракуде забыл и поплыл вверх. Сейчас он увидит яхту.

Он поднимался медленно. Посмотрел вниз: барракуды нет, наверное, испугалась якоря. В тумане наметилось вытянутое днище яхты, и вот она повисла над самой головой, как громадный дирижабль. Неуклюже торчали сложенные крылья. Бонд ухватился за правое, огляделся. Слева поблескивают два мощных винта: как будто лишь на минутку стали и вот-вот дернутся, закружат вихрем. Бонд медленно двинулся к ним, посматривая вверх, на крутой бок яхты. А там... Он затаил дыхание. Край подводного люка! Подплыл поближе, прикинул: большой, в диаметре футов двенадцать. Наглухо задраен. Включил счетчик, поднес к стальной обшивке, и стрелка дрогнула, отклонилась, но совсем немного — Лейтер предупреждал, что она среагирует на мотор, на стальной корпус. Бонд выключил счетчик. Нет так нет. Пора в обратный путь.

Он услышал щелчок над ухом, и тут же волна ударила в левое плечо. Бонд машинально отпрянул от яхты и увидел сверкающую стрелу, медленно опускающуюся на дно. Резко обернулся: человек в черном резиновом костюме вставлял в пневматическое ружье вторую стрелу. Бонд бросился к нему, яростно заработал ластами. Но человек уже зарядил и поднял ружье. Не успеть! Бонд мгновенно затормозил и бросился вниз. Выстрела он не услышал, только задело ноги взрывной волной. Теперь вперед! Он нырнул под стрелка, взмахнул ножом. Лезвие вошло глубоко, рукой он коснулся резинового костюма. Стрелок ударил его прикладом по голове и перехватил трубку акваланга. Задыхаясь, Бонд отбивался ножом невыносимо медленно, как во сне. Кажется, попал: рука выпустила его трубку. Но теперь ничего не разглядеть — по воде расползается что-то черное, тягучее, липнет к маске. Он отгреб немного в сторону, стал отчаянно тереть маску. Наконец, очистил. Раненый стрелок висел вертикально, едва шевелил ластами и медленно опускался, но продолжал наводить ружье. Бонд потряс головой, отгоняя обморок; ноги не слушались, и он не мог сдвинуться с места. Он разглядел зубы стрелка, впившиеся в мундштук; и вот ружье наведено Бонду в голову, в горло, в сердце... Бонд прикрылся руками и беспомощно, как перебитыми крыльями, пошевелил ластами...

Вдруг противника резко бросило вперед, он распахнул руки, точно для

NE USPEIU!...

объятия, и выронил ружье, а из-за его плеча поползла черная кровяная туча...

Позади стрелка длинной серебристо-голубой торпедой зависла барракуда; из пасти торчал кусок резины, а рядом расплывалось тонкое облачко крови — учуяла кровяной привкус в воде, оттого и напала.

Тигриными глазами она холодно глянула на Бонда, потом на тонущего стрелка. Широко распахнула пасть и, дернув мордой, освободилась от резины, потом неспешно развернулась, вздрогнула всем телом и серебристой молнией бросилась вниз. С разгону вцепилась стрелку в правое плечо, яростно рванула и с кровавым куском в пасти чуть отплыла... У Бонда горячо подступило к горлу, и, с трудом перебирая ластами, он поплыл прочь.

Слева что-то шлепнуло по поверхности, и сверкающее яйцо проскользило, вращаясь, вниз. Через секунду его крепко ударило снизу в живот и отбросило в сторону. От удара Бонд немного ожил и поплыл быстрее. Еще несколько раз его задевало взрывной волной от других гранат, но бросали их, видимо, у самой яхты, там, где всплывала кровь и волна доходила слабая.

Показалось уже знакомое дно: уютно колебалась трава, чернели среди зарослей мячики губок. Мелкая рыбешка косяками удирала от взрывов, и Бонд тоже прибавил ходу. Сейчас с яхты спустят шлюпку, нырнут; может быть, и не поймут, что у яхты был чужой, спишут на акулу. Интересно, сообщит ли Ларго в полицию, что у него погиб матрос? И как объяснит, зачем мирную яхту сторожили?

Бонд плыл из последних сил, голова раскалывалась от боли. Дышащая травяная поляна кончилась, он в полубреду двигался теперь над бледной загадочной равниной, и пугливые морские жители поспешно зарывались в песок... Потом сбоку снова мощно ударило волной, и он очнулся. Мимо неслась барракуда, она точно сошла с ума — дергалась, кувыркалась, изворачивалась и кусала хвост, судорожно зевала. И наконец исчезла в тумане. Бонду даже стало жаль эту морскую царицу, утерявшую покой и величие. Наверное, одна из гранат задела у барракуды мозг, и теперь она обречена. Ее приметит более крупный хищник, акула, поплывет вслед и, когда судороги чуть утихнут, с разгону врежется в жертву. Та не успеет увернуться, и акула тут же, в три молниеносных приема заглотит ее: сначала голову, потом еще извивающееся туловище...

Занесенные илом покрышки, бутылки, банки, и вот — опоры причала.

Бонд доплыл почти до самого берега и стал на колени.

Выбраться на пляж он не мог

— спину тянул акваланг, голову не поднять.

Он устал, смертельно устал.

Окончание следует.

Настя ДУБИНИНА, 12 лет
ДЕТСКИЙ ДЕНЬ ОТ НАС УШЕЛ

x x x

На подоконнике в широкой клетке
Большой изнеженный щегол сидел,
А во дворе по тополиной ветке
Скакал взъерошенный воробышек-пострел.
Воробышек скакал и радовался солнцу,
Взглянувшему из серых зимних туч,
Щегол на жердочке уселся поудобней,
И грел его торшера яркий луч.
"Как можно там, под этим зимним ветром
Скакать и вот таким счастливым быть?!" –
Сказал щегол. А воробей подумал: "Бедный,
Ведь сидя там, уж можно солнце позабыть!"

ВЗРОСЛЫЙ ВЕЧЕР

Взрослый вечер, взрослый стол.
Детский день от нас ушел.
За столом они сидят
И бессмысленно галдят.
Из стаканов пьют вино,
Ну, а мне-то все равно.
Я пойду в палатку спать,
Чтобы им не помешать.
Взрослый вечер, взрослый стол.
Детский день от нас ушел.

СТРОФЫ О ЛЮБВИ

Она обласкала его языком,
Прикрыла собой от мороза.
От боли и радости стали комком
В груди материнские слезы.
По улице с грохотом мчались трамваи,
Собака, щенка языком согревая,
Рычала сердито трамваям во след:
"Умру, а сынка не отдам тебе, нет!"
А он лишь бессмысленно тыкался мордой
В сосцы, из которых текло молоко.
И даже не знал, как сейчас нелегко
Его было матери доброй.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Сидели с мамой мы у свечки,
А под столом наш пес лежал.
Тепло нам было, как у печки,
И огонек свечи дрожал.

На руки маме котик прыгнул,
Уселся, громко замурчал.
Вдруг пес вскочил, залаял,
взвизгнул,
Котенок шлепнулся с плеча...
Мы с мамой к двери подбежали,
И голос милый и родной
Послышался. Слова звучали:
"Ну вот и я пришел домой!"

Наш папа – грязный и усталый
Ввалился в комнату, и вот
На стол накрыто все для чая,
И громко радио поет.

А перед сном я на колени
Залезла к папе и прошу:
"Ну, расскажи, как там все было!"
А папа: "Завтра расскажу..."

"Ну дай поспать ты человеку!" –
Ругалась мама на меня...
И я затихла, но навеки
Того я не забуду дня.

x x x

Подрезали крылья птице,
А ей хотелось летать.
Что ей оставалось делать?
И стала птица мечтать.
Мечтала она о полете,
О том, как взовьется ввысь,
Глядя на черные прутья
И слыша крысиный визг.
И небо синее-синее
Виделось птице во сне.
Проснется – железная клетка
И двор ленинградский в окне.

x x x

Ждала так долго часа своего
Свеча в шкафу на пыльной верхней полке,
И не было с ней рядом никого,
Кто б вынуть мог сомнения иголки.
И час настал. Часы пробили семь.
Они, поцеловавшись, засмеялись,
И старая ворчунья – шкафа дверь –
Открывшись, заскрипела, заругалась.
Свеча стояла на подсвечнике своем,
И воска капли падали, как слезы.
Не жалко было таять тем двоим,
В душе следы оставив сладкой грезы.
Тот в полной мере счастье обретет,
Кто, как свеча, нам душу озаряя,
Растает, но за этот миг поймет,
Что счастье можно чувствовать, сгорая.

Рязань

ТУСОВКА ПОДСМАТРИВАЕТ

На этот раз хозяйка тусовального стола Наталья Великодная пригласила московских школьников Игоря Малахова и Илью Бруштейна. На столе – снимки, присланные в редакцию нашими читателями. Ну-с, и что же мы увидели?

И.Б. То, что фотографировать мы мастера.

Н.В. А что? На наших тусовках мы пытались научиться разговаривать друг с другом, но ведь прежде чем обсудить проблему, важно ее увидеть. Правда? А для начала не вредно взглянуть на самих себя, как это сделала Оля Вавилова из Ялты.

И.Б. Она посмотрела на себя, а мы на нее. Мне, например, нравится, как Оля себя видит. Почаще говорите себе, что вы самые обаятельные и привлекательные. Я считаю, что каждый человек должен любить себя и ценить в себе личность. Тогда он и в других ее оценит.

Н.В. А теперь – внимание. Детская зона.

И.М. Ничего себе, акселератики...

И.Б. Когда видишь таких дядей и тетей, поневоле думаешь, какое же человек противное животное... Но оно тоже тянется к солнцу и свету, и ничего в этом нет плохого. Может, пустим их на свою территорию, пусть они немного погреются?

И.М. А эти двое на скамейке не иначе как о любви беседуют.

Н.В. По-моему, это слово давно выбыло из их лексикона.

И.М. Какие-то они оба заброшенные. И скамейка покосилась. Наплевать и на себя и на то, что вокруг.

И.Б. Я бы их не осуждал. Посмотрите на одежду женщины. Потеряны всякие критерии. Откуда взяться красоте? Она жила в некрасивом мире, выполняла малопривлека-

Ольга ВАВИЛОВА, г. Ялта. "Автопортрет"

Дмитрий ЯРОЩУК, г. Кемерово. "Побег с уроков"

Ольга ВАВИЛОВА, г. Ялта. "Акселераты"

Роман ПУШКИН, г. Челябинск. "Друзья"

Алена ЖЕЛЕЗОГЛО, г. Тирасполь. Из серии "Понедельник"

ОСТОРОЖНО
ЗЛАЯ
СОБАКА

Евгений ЕФРЕМОВ, г. Тара. "У одноклассников горе"

тельную работу и явно не женскую. Остается ей посочувствовать. Мне кажется, что это же испытывала автор снимка Алена Железогло.

И.М. А здесь – дружба не знает границ... Как еще назовешь эти объятия со "злой собакой".

И.Б. Обидно, что нельзя повесить табличку "Осторожно, злой человек". Это более актуально. А за пса обидно. Молодцы, что утешили.

Н.В. А эти мальчишки вам не кажутся заброшенными?

И.М. Нормальные ребята. Этот малый в центре смотрит на вас с явным превосходством.

Н.В. Что же, если это так на самом деле, то замечательно.

И.М. А вот этой пионервожатой, по-моему, все ясно. Куда идти и с кем бороться.

И.Б. Что ты, такая симпатичная толстушка, и нечего выдумывать.

И.М. "У одноклассников горе". Печальная фотография. Все-таки смерть так нелепа...

И.Б. Тем более, когда мы ее сами торопим, у меня сейчас даже стихи стали складываться про несчастного рокера, стакан водки и всякое такое. Послушайте:

Погиб он так нелепо,
А был он мотоас.
Прошло второе лето –
Я помню как сейчас, –

Он несся сквозь овраги.
Он сверху рвался вниз.
А после чарки браги
Его ты сторонись.

Здесь тихо и прохладно.
Здесь скучно и темно.
Ему бы было страшно,
А в общем – все равно.

А крест ему не нужен
И колокольный звон.
Ему бы только "Яву",
А лучше – самогон.

И.М. А может быть, лучше помолчать? Когда я в очередной раз вижу смерть молодого человека, думаю: вот жил человек, и нет его. Что осталось? Что останется после меня?

Н.В. И тем не менее мы продолжаем улыбаться и шутить. Мы любим спорт и риск. А сколько забавного в жизни. Чего стоит эта потешная "амазонка".

И.Б. Ну хоть один стих дадите мне прочитать? О последней фотографии.

Ответьте на рукопожатие.
Кто б ни был он, что б ни хотел.
Ведь мост не может
разорваться.
Сорветесь, если он не цел.

И.М. Да... Поэт Цветик. А по-моему, он протягивает руку девушке. Последнее танго нам дано...

Н.В. Погодите. По-моему, мы слишком увлеклись комментированием и собственными фантазиями. Ваня Куликов из Москвы назвал свой снимок "Я и мы".

И.Б. Ну и кому же он протягивает руку?

Н.В. А может быть, нам с вами? Мы здесь с вами наговорили чепухи, а остальные – читай. Вот он нам и сочувствует.

И.Б. А пусть попробует побыть на нашем месте. Я бы объявил конкурс на снимок для тусовки. Пришлите свой взгляд на мир, а мы его обсудим. Вместе с автором. Идет?

Н.В. Ждем фотографий.

Анна ВОЛКОВА, г. Тирасполь. "Пионервожатая"

Александр МАГЛАКЕЛИДЗЕ, г. Москва. "Амазонка"

Виталий ЦИЦЮРСКИЙ, г. Ильичевск. "Мотокросс"

Константин МУЧНИК, г. Караганда. "Боксерский танец"

Иван КУЛИКОВ, г. Москва. «Я и мы»

Юрий ПОРОЙКОВ

РАССКАЗ

Борис сидел на бетонной тумбе, прислонясь спиной к пустой длинной трубе — флагштоку, и смотрел, как пропадали за высокими дубовыми дверями люди.

Они шли безостановочным разноцветным потоком — мужчины, женщины, девушки, загорелые, бледнолицые, кудрявые, лысые, седые, в шляпах, тюбетейках, косынках, с сумками, чемоданами, свертками, авоськами, веселые, хмурые, равиодушные, красивые и так себе, выстраиваясь у самых дверей в затылок друг другу, толкаясь и теснясь, и — исчезали с глаз долой...

А слева, из таких же высоких дубовых дверей, не успевающих закрываться, выдавливался на улицу такой же безостановочный разноцветный поток, и, казалось, это были те же люди, которых зачем-то пропустили через грохочущие там, внизу, механизмы...

"Как мясорубка", — подумал Борис вдруг, и его передернуло от отвращения.

В сторону театра он не смотрел — зачем? Даже сожаления о пропавших билетах не было: сначала надеялся, что она вот-вот подойдет, он ежеминутно косил глаза на часы, не спуская взгляда от выхода из метро, где она должна была появиться, потом стал следить и за машинами, подкатывающими к театру, — вдруг взяла такси?

Ну а после, когда стрелка часов забежала за семь часов, просто стал ждать, забыв о билетах. А вспомнил — время уже ушло, кому были нужны эти бумажки, за которыми он гонялся несколько дней, стоял в очереди, ходил от одного хаыги к другому и добыл-таки, отдав пятнадцать рублей. Почти все, что оставалось от проданного двухтоминка О'Генри. Билетов не жалко, а о книгах не хотелось и вспоминать. Последнее, можно сказать, свое богатство отдал, ничего на полке стоящего уже и

не осталось — распушил отцовскую библиотеку за два-три месяца. Небольшая библиотека, Борис и цены настоящей не знал — ну, книги как книги, кто их сейчас читает! Зато у Мишки глаза загорелись, когда увидел. Обманул, паразит, обрадовался, что дурака нашел. Пятьдесят рублей Борис ему задолжал, пристал с ножом к горлу, когда тот на мели сидел, воткнулся глазами в книжный шкаф:

— А что тут у тебя?

— Смотри, — сказал Борис.

— Мура какая-нибудь, наверное... — пробормотал Мишка, поводя носом. Была у него такая привычка — принюхиваться. Долго он смотрел-разглядывал, Борис даже заскучать успел.

— Так себе в общем-то, — сказал Мишка, убирая свои лапы с полки. — Середняк!

— А мне до лампочки! — ответил Борис сердито. — Мне читать некогда. Это отец собирал.

— И видно, что старье! — подтвердил Мишка. —Для пенсионеров. Ну, ладно, так как с деньгами-то будем?

Денег у Бориса не было и не предвиделось, не воровать же в самом деле идти!

— Через месяц отдам, — в третий раз сказал Борис, соображая, как лучше отлепить сейчас этого прилипалу. Но Мишка снова пропустил обещанне мимо ушей. Уселся на диван, закинул ногу на ногу и стал рассматривать репродукцию из "Огонька" в рамочке на стене. Тоже от отца осталась.

— Шишкин, что ли? — спросил Мишка, ковырнув в носу.

— Ага, — сказал Борис. — Шишкин.

— Рамочка фиговенькая, — заметил он. — Самодельная?

— Почему фиговенькая? — обиделся Борис за отца. — В самый раз.

— Сейчас репродукция не в моде, — пояснил Мишка. — В деревне и то не вешают.

— А у нас вот висит, тебе-то что? — рассердился Борис. — Висит себе и висит, не ты же здесь живешь? Тоже мне критик нашелся!

Тут он много еще чего сказал — лучшего повода турнуть Мишку из квартиры не было, но выслушал со вниманием и не обиделся. Терпеливый, гад. Борис потом только понял, что он его таким образом обрабатывал психологически: потому и сидел молча, только ногу сменил, и вдруг сказал:

— Денег, вижу, с тебя сейчас не получишь, нехорошо, конечно, да ладно, войдем в твое трудное положение. Книгами не желаешь расплатиться? Хоть шерсти клок, как говорят...

— Как так, книгами? — удивился Борис. Ему бы это самому и в голову не пришло.

— Раз книги покупают, значит, и продать можно, — ухмыльнулся Мишка. — Правда, тут уцененных полно...

— Каких еще уцененных? За них отец ползарплаты отдавал каждый месяц.

— Такая, значит, была зарплата, — съязвил Мишка, но увидев, что Борис снова заводится, похлопал дружески его по плечу. — Ладно, ладно, вот я тебе сейчас покажу — какие...

Он подошел к шкафу, аккуратно открыл дверцы, поискал на полке и достал толстую книжку в потрепанном переплете.

— Смотри, перечеркнуто и чернилами новая цена написана. Было рупь сорок, стало девяносто копеек. Никто не брал, вот и уценили...

Борис посмотрел — все верно, перечеркнуто. Зачем же тогда отец их покупал, уцененные? Странным ему это показалось, но он промолчал: пусть забирает, если надо, где он деньги через месяц достанет?

— Так как? — спросил Мишка, насладившись его растерянностью. — Будем махаться?

— Бери, — сказал Борис.

— Могу выбирать? — уточнил он и облизал губы.

— Конечно, — согласился Борис и распахнул створки шкафа пошире. Мишка долго выбирал, а он, дурак, еще уговаривал:

— Вот эту возьми, у нее корешок красивый.

Только Мишка на корешок для вида смотрел. Это Борис тоже после понял. Авторы его интересовали и старые книги. У него даже уши покраснели, в такой раж вошел. Борис сзади стоял на подхвате, а он с головой в шкаф забрался, посапывал довольно и мычал что-то себе под нос. Узкая, костлявая спина, мятая голубая рубашка на острых лопатках, как на вешалке, натянулась, на затылке сквозь редкие рыжеватые волосы плешь просвечивает... Борис эту плешь увидел и подумал: "Да он совсем старый, наверное".

— Слушай, — спросил он. — А сколько тебе лет?

— Чего? — удивился тот и даже голову из шкафа вытащил.

— Лет, спрашиваю, сколько?

— Все мои, — недовольно сказал он. — Тридцать два, вот сколько.

Борис даже присвистнул от удивления:

— И дяде моему было тридцать два, когда он умер.

— Тьфу! — сплюнул Мишка себе под нос. — Накаркаешь еще...

Пока они так трепались, Мишка целую стопку книг на столе выстроил, стряхнул с ладошек пыль и стал вслух считать: "пять... восемь... двенадцать..." Сколько на обратной стороне книги значилось, столько и приплюсовывал. А цены там были мизерные — до рубля в основном, или чуть выше, копейки они округляли. Так и уплыли у Бориса Бабель, Северянин, Пастернак, три академических тома Лермонтова и половина приложения к старому журналу "Нива" с Александром Грином. Борис потом только и узнал, сколько они стоят на самом деле, и даже не на "черном" рынке — в букинистическом. Ему бы и одного Грина на полгода хватило, не говоря о Северянине... Чему, спрашивается, их в школе учат? Ну, Лермонтов, ладно, вроде проходили: "Смешались в кучу кони, люди..." Или Печорин — "лишний человек". А кто о Грине-то говорил? Или о Северянине? И не заикались. Борис стихов сроду не читал, целая мука, когда наизусть приходилось Пушкина того же учить: "Буря мглою небо кроет..." Вот и надул его Мишка. И смылся скоро совсем — не то уехал, не то телефон сменил, а может, и посадили: он же, оказывается, знаменитым "черным книжником" был, его все в округе знали, как спекулянта, кроме Бориса, конечно. Когда мать спохватилась, уже поздно было, только и осталось, что слезы лить... А Борису так влетело, что он долго на книги и смотреть боялся. И если бы не приперло сейчас, так никогда бы за старое не взялся. Но она сказала:

— А я еще ни разу не была в театре на Таганке. Все говорят, а я не была...

Конечно, она это как бы между прочим сказала — никогда ни о чем не просила, от предложений в кино сходить или в кафе посидеть отказывалась. Не то, чтобы отвергала — выслушивала, кивала головой или улыбалась уголками губ, и как-то само собой получалось, что ни в кино, ни в кафе они не попадали. И вот уже стояли на углу и прощались — дальше ему идти не разрешалось.

Здесь был пограничный пункт, на другой стороне улицы — заграница.

Там была уже совсем иная жизнь — яркая, праздничная, недоступная. Сверкала реклама. Светились витрины. Шли люди. И никто из них не

переходил на эту сторону. И никто не переходил на ту. Кроме нее.

Она говорила: "Спасибо, что проводил", — и в это мгновение загорались все три огонька светофоров. Она перебегала широкую улицу, которая тут же заполнялась машинами. Словно открывался специальный шлюз, и металлический, грозно шуршащий поток надежно перекрывал границу.

Она никогда не махала ему с той стороны рукой.

Наверное, там это было запрещено. Но он все равно ждал, что она обернется.

Как же мало ему было нужно, чтобы почувствовать себя счастливым! Она о том, очевидно, не думала или, наоборот, не хотела оставлять никаких надежд. И потому не говорила "до свидания!".

До него это не сразу дошло, а когда он, наконец, сообразил, было поздно что-либо менять. Да и как бы он смог что-то здесь изменить, если никаких свиданий ни она ему, ни он ей не назначали, а встречались лишь потому, что он приходил к концу рабочего дня к зданию, где она работала, терпеливо ждал ее появления, и они шли потом вместе три квартала. Останавливались у пограничного пункта и расставались здесь до следующего вечера.

x x x

... Он обычно стоял у газетного киоска, набычившись, сунув руки глубоко в карманы куртки, с горящим, напряженным лицом, и придумывал слова, которые скажет ей на этот раз. Она появлялась всегда неожиданно, издали улыбалась, словно и вправду была рада видеть его.

"Здравствуй, Боря!" — говорила она, подходя.

"Здравствуй", — отвечал он, и дальше они уже шли вместе: она, как шла, так и шла, он — приноравливаясь к ней и потому постоянно сбиваясь, то отставая, то чуть забегая вперед. И дистанция между ними сохранялась постоянная — здесь запросто уместился бы еще один человек. Но если бы он и в самом деле вдруг объявился, сразу бы стало ясно, кто тут лишний. Боре эта мысль давно уже не давала покоя, и он шагал, сжимая кулаки от злости на себя и на того, кого пока еще не было, но кто мог оказаться в такой опасной близости к ней. Возможно, и она думала о том же, когда подходила к нему и видела его неестественно напряженное лицо с пухлыми детскими губами и детским же румянцем на широких скулах, тяжелым подбородком с волевой ямочкой и угрюмо прищуренными м у ж с к и м и глазами. Всякая женщина сразу отличит эти глаза среди сотен других и поймет, почему они такими становятся в определенный момент.

Что же тогда о ней говорить — тонко и остро чувствующем человеке, каким она, несомненно, была, потому что пока еще ничем не выдала ни своего недовольства его непрошенным вторжением в ее жизнь, ни тревоги по поводу того, чем все это может закончиться и для нее, и для него. Хотя о себе она вряд ли должна была беспокоиться. Возможно, ее даже забавляла эта история, а может быть, льстила чуть-чуть: как-никак, не девочка уже, наоборот — взрослая женщина. И вот на тебе — ходит по пятам парень, мальчишка совсем...

Думала она так или нет, о том Боря не мог знать точно, но эта мысль ему в голову приходила, когда он смотрел ей, перебегающей дорогу, вслед и ждал, что она на этот раз, может быть, обернется. Она, конечно, не оборачивалась, и он уходил с пограничного пункта разочарованный и обиженный, выбрасывая далеко вперед длинные ноги, обутые в разбитые старые ботинки сорок пя-

того размера, слегка косолапя при этом и размахивая длинными руками и сильно сутулясь, потому что был на голову выше любого, шедшего рядом или навстречу ему в толпе.

Счастливый, он мечтал о счастье, не зная еще, что счастье — это прежде всего несвобода тела и души. Влюбившись, он воспарил над землей, не подозревая, что радость полета рождает страх падения, и отныне они, эти чувства, всегда будут вместе, сменяя друг друга. Или присутствуя одновременно. И правда, которую начал искать, задумываясь над ее словами, молчанием или улыбкой, тоже не сулила ему ничего хорошего: правда сладка, пока мы ее ищем, и горька, как правило, когда находим.

ххх

Вот такая бездна открылась Борису в тот самый день, когда случай столкнул его с маленькой, худенькой, темноволосой Светланой Афанасьевной, недавно закончившей институт и зачисленной на работу сменным мастером.

Двигаясь в разных направлениях — она, сбегая по лестнице вниз, он, торопясь вверх, — они оказались в одну и ту же секунду в одной точке пространства.

Она упала ему прямо в руки, и от Борнса потребовалась воистину акробатическая ловкость для того, чтобы не упасть самому и не дать упасть ей.

Он с этой задачей справился, и Светлана уютно расположилась на его могучих руках, потеряв на мгновение чувство реальности. Конечно, это еще не было настоящее мужское объятие: падая, она успела выставить перед собой не только острые локти, но и колени, ударив его в грудь и живот, и он, скорчившись от боли, едва сумел удержать ее. И когда она, испуганная и униженная грубым прикосновением, оттолкнула его, он тоже не показал себя полным джентльменом.

В общем, расстались они тогда сердитые друг на друга, а недели через две она, зайдя по пути в мастерскую, откуда ей с утра обещали прислать опытного слесаря, чтобы отремонтировать покосившийся стояк для инструментов, снова столкнулась с Борисом.

На этот раз их разделяла безопасная дистанция, и ничего страшного не могло произойти. Просто она с порога его увидела, отметив про себя, что он еще выше и мощнее, чем показался ей в первый раз. И подумала, что ей здорово повезло: упади не она, а он на нее... Но она, как девушка умная и прозорливая, тут же решила сделать вид, что не помнит случившегося; во всяком случае — это еще никакой не повод для того, чтобы выходить за рамки чисто служебных отношений. Ей нужен слесарь, для этого она сюда и заглянула.

Борис же в это время, посвистывая себе под нос, боролся с помощью напильника против неподатливой детали и думал о том, как отшить прилипалу Верку, которая таращит на него глаза, словно он — снежный человек, и как, не обижая, сказать Таньке, что не надо носить "бананы", поскольку они ей — как корове седло...

С недавних пор он стал пользоваться большим успехом на танцевальной веранде в районном парке, куда ходил с друзьями от нечего делать. Ну, еще бы не пользоваться успехом: в семнадцать с половиной лет Борис весил восемьдесят кг, носил ботинки 45-го размера и был выше своего отчима на две головы.

"Это какой-то феномен!" — вздыхала мама, разглядывая себя в зеркале и не понимая, как она, маленькая, хрупкая, с узкими, девчоночьими бедрами, почти незаметной грудью смогла родить такого гиган-

та, рядом с которым всегда чувствовала себя его младшей сестренкой.

Отец Бориса тоже не отличался выдающимся ростом — обыкновенный в общем-то интеллигент с маленькой зарплатой, неудавшейся карьерой и плохим характером.

Они разошлись с матерью, когда Борису исполнилось пятнадцать лет, и вскоре в их доме появился Валентин Петрович.

Это был старый холостяк, что жил в соседней квартире, — тихий, милый человек, который любил играть на саксофоне: когда-то, в юности, он закончил музыкальное училище, бацал в джазовом оркестре, за что получил комсомольский выговор, но не испугался — только законспирировался, а обладая разносторонними способностями, стал кибернетиком. Играть на саксофоне в своей квартире он не решался, чтобы не беспокоить соседей, и по воскресеньям ездил на электричке в лес, где никому не мешал.

Блюзы особенно хорошо звучали в березовой роще, и он, наигравшись и вытерев печальные слезы, возвращался в город, чтобы в понедельник, надев синий халат, думать над тем, как догонять Японию, США, Южную Корею и Таиланд в подвластной ему научной сфере.

Вот какой замечательный отчим попался Борису, который, к сожалению, ничего не понимал ни в кибернетике, ни в блюзах, но в людях уже разбирался хорошо и к Валентину Петровичу привязался сразу, одновременно и к его многочисленным родственникам, среди которых возвышался в прямом и переносном смысле бывший цирковой атлет Михаил Петрович. Выйдя на пенсию, тот ездил по стране, в основном по санаториям и домам отдыха и прочим культурным весям, где демонстрировал свои нестареющие мышцы (все вместе и каждую в отдельности) со сцены и завязывал узлом гвозди. Он и научил Бориса этому необычному искусству, предсказав ему великое будущее, потому что человек, который в семнадцать лет может скрутить в узел толстенный гвоздь, никогда не затеряется в жизни.

К тому времени Борис подрос еще на десять сантиметров, потяжелел на десять килограммов и закончил десять классов, однако в институт не попал и пошел работать на завод, где работали все родственники Валентина Петровича, кроме, естественно, дяди Миши.

Бориса, учитывая рост, силу и молодость, направили в ремонтную мастерскую, обслуживающую механический цех, где было много железа и мало людей — он ничего не умел делать, кроме как завязывать узлом гвозди и поднимать, когда было нужно, большие тяжести. Его постоянно приглашали в разные секции, но он спортом заниматься не хотел, решив еще с детства посвятить будущую жизнь морю, которого никогда не видел, но знал, что море — очень большое и по нему плавают красивые корабли. Сейчас он знал, конечно, многое и о море, и о кораблях, и мечта его, несколько скукожившись от этого знания, постоянно нашептывала на ухо, особенно по ночам, разные нехорошие кляузы о морской службе, но он еще держался взятого курса, хотя и не так уверенно, как в детстве.

Таково было социальное и психологическое состояние Бориса, когда незнакомая красивая девушка неожиданно упала ему прямо на руки.

И может, потому, что ко всем девушкам он относился чуть свысока, а может быть, и потому, что ни одна из них еще так больно не била его коленками и локтями в живот, он Светлану Афанасьевну толком и не разглядел, а следовательно, и не очень признал, когда спустя две недели она появилась в мастерской.

x x x

... О своих приключениях на танцплощадке он в мастерской особенно не распространялся, но ребята и без его рассказов все хорошо представляли, посмеиваясь добродушно над ним: нет-нет, да и заглянет какая из молоденьких в мастерскую как бы по делу, а дела всего — поглазеть на неприступного красавца, похожего, по местным легендам, на знаменитого актера Жана Марэ.

Ему, конечно, было лестно, что и говорить, но радости большой от такой известности не испытывал — пусть смотрят, ему-то что? Вот почему, когда в мастерской появилась Светлана Афанасьевна, ее приходу никто не удивился — значит, и туда докатилась слава Бориса, пусть посмотрит молодой инженер, какие кадры работают в мастерской! Видно, в институте, который только что закончила, таких красавцев не было, иначе, чего ходить и смотреть?

"Вам Бориса?" — вежливо спросил слесарь Вася, который стоял ближе всех к дверн.

"Бориса? — удивилась она. — А вы откуда знаете?"

"Ну, кто же этого не знает? — гордо засмеялся Вася и махнул рукой. — Борис, на выход!"

Борис недовольно поднял голову и посмотрел на Светлану Афанасьевну, которая, в свою очередь, очень внимательно его издали разглядывала.

И вот тогда-то все и случилось. В груди Бориса словно струнка какая натянулась и звякнула. Слабо-слабо, но он все равно услышал и удивился: это еще что такое? Никогда прежде не звякала, и вдруг...

А Светлана Афанасьевна совсем близко подошла, окинула его светлым взглядом и улыбнулась широко:

"Так вы — Борис? Значнт, вам уже позвоннли, да? Идемте быстрее, а то у меня работа застопорилась".

Ребята ничего не поняли, разинули рты от удивления, а Борис, усмехнувшись, взял нежно Светлану Афанасьевну под локоть и повел к выходу. А зачем взял и зачем повел, и сам не знал. Точно затмение какое нашло.

"О! — воскликнула она и отняла локоть легким движением руки. — Вы всегда такой галантный кавалер?"

"Всегда!" — с жаром подтвердил Борис, радуясь, что она заговорила игривым тоном. Это была его стихия — на танцплощадке других слов не понимали и не принимали, не захочешь, а научишься...

"Что же, приятно! — сказала она, окидывая его внимательным взглядом. — Посмотрим, как это отражается на работе".

"Хорошо отражается!" — подтвердил Борис, отмечая про себя, что глаза у нее очень красивые, талия узкая и все остальное прочее тоже выдающихся достоинств. И голос прнятный. И хотя и отняла руку, но без раздражения и обиды, а значит, можно рассчитывать на продолжение знакомства.

Он в этих делах, что называется, сек.

"Как сегодня насчет кино? — спросил он как бы между прочим. — Имеется, конечно, в виду вечернй сеанс, 8.30. Билеты гарантируются в любом случае".

"Да? — рассеянно переспросила она. — Так вот сразу?"

"А зачем откладывать?"

"И правда, зачем?" — улыбнулась она.

"Ну, так — зарублено?"

Она ничего не ответила, только поннмающе улыбнулась, и тут онн подошли к стояку.

Ему пришлось попотеть, пока он во всем разобрался и кое-как, с грехом пополам, справился с поломкой. Светлана Афанасьевна стояла за спиной — он, не видя, ее присутствие чувствовал, и она его отвлекала.

"Помочь?" — спросила она, как показалось ему, насмешливо.

"Ага!" — сердито откликнулся он и так дванул, что едва ключ не сломал. Теперь-то он понял, что какая-то накладка получилась и не его тут ждали, но не признаваться же в том, когда работа пошла и осталось сделать самую малость.

"Все!" — сказал он, наконец, и оглянулся, ожидая похвал.

"А зачем ты зубами скрипел?" — спросила она, улыбаясь.

"От злости! — признался он, чувствуя огромное облегчение от того, что все кончилось и он не сплоховал в ее глазах. — Гайка упрямая попалась, да вы еще под руку... Ну, что? Теперь можно и расплачиваться?"

"Да?" — она взглянула на него понимающе и потянулась рукой к кармашку костюма.

"Не в том смысле! — сказал Борис, осторожно касаясь ее руки. — Сегодня в 8.30. Кинотеатр "Салют".

"О! — снова воскликнула она. — Вот уж не ожидала!"

"Я же галантный кавалер, — напомнил он. — Особенно после работы".

"А тебе не кажется, что ты чуть-чуть торопишься?" — спросила она.

"Отнюдь, — ответил он любимым словечком отчима. — Мне кажется, я сильно опаздываю".

"Думаю, ты ошибаешься", — мягко заметила она.

"Ошибается тот, кто ничего не делает", — вспомнил он любимую присказку своей бывшей школьной учительницы.

"Да? — удивилась она, словно он сказал нечто неожиданное. — Тебе очень хочется в кино?"

"Очень. Но только с вами", — подтвердил Борис и приложил руку к груди, где гулко стучало сердце.

"А что делать, если мне не хочется совсем? — грустно спросила она. — Или это для тебя не имеет значения?"

Вопрос был с подвохом, и Борис предпочел промолчать: не говорить же, что для него, и вправду, не имело большого значения — хочется ей идти в кино или нет.

"Вот видишь!" — сказала она мягко.

"А что?" — поинтересовался он небрежно, словно ничего не понял.

"А то!" — засмеялась она и, тряхнув пышными волосами, быстро пошла вдоль конвейера.

Борис растерянно смотрел ей вслед, соображая, а когда, наконец, сообразил, вознегодовал.

"Эй!" — крикнул он так, что звякнули стекла в окнах.

Она остановилась, но не вернулась, а стала ждать, пока подойдет он.

"Слушаю тебя".

"Вы думаете, я еще до вас не дорос, да?" — спросил он грубо.

Она измерила взглядом его рост, для чего ей потребовалось запрокинуть голову, и улыбнулась:

"Ничего я такого не думаю, с чего ты взял?

"Нет, вы так думаете", — упрямо подтвердил он, глядя ей прямо в глаза.

Она пожала плечами и ничего не ответила.

Теперь, когда они стояли друг против друга, она рядом с ним казалась совсем маленькой и хрупкой. Со стороны ее, наверное, и видно не было — он всю ее, от макушки до пят, закрывал своими широкими плечами.

"Странная, однако, у тебя манера общаться с девушками, — сказала она, хмурясь. — Или ты встречаешься с такими, которые позволяют тебе разговаривать подобным тоном?"

"Да, — согласился он, подумав. — Им это даже нравится".

"Но мне это не нравится, и я никому не разрешаю разговаривать так. Тебе — тоже".

Он кивнул головой, соглашаясь,

что она имеет на это право, хотя на его лице было написано недоумение.

"Ты часто кричишь девушкам "эй"?" — пояснила она свою мысль.

Он сердито посмотрел на нее, но честно признался: "Нет".

"Ты еще мальчик! — засмеялась Светлана и, встав на цыпочки, погладила его по голове. — Большой, сильный, хороший мальчик. И все у тебя еще впереди. Ну, а сейчас мне уже пора".

"Нет! — упрямо возразил Борис. — Я не мальчик".

"Хорошо, ты не мальчик, но мне все равно пора. И ты, пожалуйста, меня не задерживай!"

И она ушла, а он остался, и было ужасно тошно от того, что не сумел ее разговорить, а главное — не уточнил еще раз, придет она к кинотеатру к 8.30 или не придет? "Придет! — решил он после долгого раздумья. — Куда она денется? И я еще докажу!"

Что именно докажет, он еще не знал, но это было уже не важно. Важно решить, а когда наступит час, сделать так, как решил, и не иначе...

x x x

Он еле дождался конца работы, долго крутился зачем-то около кинотеатра, но до начала киносеанса оставалось слишком много времени, и он зашел в кафе. Там скучал за стойкой Вениамин по кличке "Малаец" — смуглый, вертлявый, скользкий тип, от которого за версту пахло женской пудрой и румянами. Говорили, что он — "голубой" и что у него папа — в Канаде. Только Борису на это было наплевать: с "голубыми" он дел не имел, а в Канаду ехать не собирался.

— О! — воскликнул Вениамин радостно. — Какие гости! А почему без дамы? Впрочем, можем подобрать и здесь по вкусу...

— Отцепись, — лениво отмахнулся Борис. — Дай чего-нибудь попить.

И пока Вениамин, краснея лицом от натуги, боролся с железной пробкой, намертво привареной к горлышку бутылки "Боржоми", он оглядел через плечо небольшой полутемный зальчик: половина столиков была свободна, за другими сидели ранние посетители — из тех, кого по знакомству запускали сюда пораньше. Неподалеку, за уютным столиком для двоих, скучающе разглядывала потолок светловолосая девушка; стульчик напротив был занят ее сумочкой, что означало, что она не одна и в ухажерах на сегодняшний вечер не нуждается.

Вениамин показал Борису на нее глазами и вкусно прицокнул языком.

— Отцепись, — повторил Борис и еще раз оглянулся на девушку, запоминая на всякий случай.

— Первый класс, — сказал Вениамин, вытирая ладони о свои туго обтянутые джинсами ягодицы. — А хмырь ее так себе, мозглячок, фраер, но цену себе знает. И она ему, видать, тоже. Спорнем, не отобьешь?

— Дерьма лопатой, — сказал Борис, медленно закипая. Он уже жалел, что связался с этим дурацким кино, что целый день думал о том, придет она или не придет, что притащился зачем-то за два часа до начала сеанса к кинотеатру и ходил вокруг него как пацан, что зашел в эту вонючую дыру и должен говорить теперь с таким дебилом, как Вениамин. "Если не заткнется, я надену ему на башку кофеварку!" — мысленно пригрозил он, прикидывая, сможет ли оторвать тяжелую машину от стойки. Но Вениамин, к счастью, ушел в подсобку и долго шуршал там среди своих коробок, где прятал дефицит для нужных людей.

Борис снова посмотрел на светловолосую девушку, которая теперь, скучая, разглядывала свои ногти, поворачивая руки так и сяк. "А на кой черт мне сдалась эта фифа?" — мель-

кнула в голове Бориса неожиданная мысль, и прогнать ее было уже невозможно. И загадал, если поставит сейчас Вениамин хорошую пластинку, пригласит ее на танец. Но Вениамин подошел к стойке с двумя длинными блестящими гвоздями и торжественно выложил перед Борисом.

— Сделай мне красиво, — попросил он, поправляя красную бабочку под подбородком. — Ну, пожалуйста!

Борис, усмехнувшись, взял гвоздь, повертел в пальцах и небрежно, без особых усилий, завязал в узелок. Потом бросил его на широкий круглый поднос. Вениамин заржал от удовольствия и цапнул узелок своими крохотными, женскими пальчиками.

— Титан! — похвалил он, сглатывая набежавшую слюну. — Слушай, наделай мне таких с сотню, я их продавать буду.

— Иди ты! — дернул плечом Борис.

— Нет, я серьезно! — воскликнул Вениамин. — Будешь сюда приходить, когда хочешь...

— Сказал — иди! — рыкнул на него Борис. — А то я тебя самого в узел завяжу, понял?

— Понял, Боря, понял, — испуганно подтвердил тот и на всякий случай отодвинулся от стойки. К Борису он относился не то, чтобы с почтением, но вполне уважительно, выделяя его из всех пацанов, что заглядывали сюда на огонек, и дразнил не из вредности, а из-за постоянно хорошего настроения, которое не в силах были нарушить даже участившиеся визиты работников районного ОБХСС, тем более что давно их прикупил. С милицией он всегда был "вась-вась", как, впрочем, и с пожарниками, и с санинспекцией, и фининспектором — то люди были понятные, брали умеренно и осторожно, им разорять его невыгодно. Другое дело — рэкетиры, о которых Вениамин был уже наслышан, но пока еще бог миловал: или не добрались до него, или ждали, когда он сам их позовет. А что? Некоторые — позвали и заслонились от гастролеров, благо запрашивали по-божески, хотя и на глазок, но верно оценивая нажитый капитал. Вениамин советы слушал, однако, прислоняться к кому-либо не спешил, выгадывая. Вот такого бы, как этот молодой амбал, да на службу, а? Его все местное хулиганье наверняка знало, а через них и хищники покрупнее тоже рано или поздно узнают и постараются прибрать к рукам — чего же добру зря пропадать, купят или припугнут, и будет служить, куда он денется? А пока Вениамин старался привадить его к своему заведению, подольше задерживая у стойки, чтоб побольше людей увидело и оценило, какая мощь стоит за ним, Вениамином. Потому и гвоздей принес, и разговор затеял, и народу сейчас покажет — пусть подивятся бесплатно, реклама для кафе та еще!

Он взял поднос, поднял над головой и, вихляя задом, пробежал по зальчику, особо остановился у столика, где сидела светловолосая девушка, приглянувшаяся Борису...

— Дама поражена, — сообщил он, вернувшись к стойке. — Но не верит, что такое могут сотворить человеческие пальчики. Требует подтверждения.

— А кто тебя просил? — зашипел Борис, но убить Вениамина не успел: светловолосая девушка тронула его мизинцем за плечо и, показывая глазами на изуродованный гвоздь, спросила:

— Это, правда, вы?

— Ну я, — сказал Борис, смущаясь и злясь одновременно.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас.

— А вы можете сделать еще такой же?

Борис пожал плечами.

— Ну, для меня!

Вениамин услужливо протянул гвоздь.

— Цирк, и только! — засмеялась девушка, когда Борис положил перед ней свернутый в узел гвоздь.

— А зачем вы это делаете?

— Не знаю, зачем, — растерянно пробормотал Борис, удивляясь вопросу. Об этом его еще никто не спрашивал, а он не думал — зачем? Интересно, а задумывался ли над таким вопросом Михаил Петрович, навязавший за свою жизнь, наверное, не одну тысячу железных узлов, вызывая всеобщее восхищение и любопытство?

— Ведь гвоздь для того, чтобы его забивать? — уточнила девушка.

— Ну! — подтвердил Борис.

— Зачем же его так уродовать тогда?

— Для красоты, девушка, — вклинился Веннамин, обиженный за Бориса. — Или вы знаете еще кого, кто может приготовить такое блюдо, не отходя, так сказать, от кассы?

— Ничего красивого в этом нет, — сказала девушка, печально рассматривая бывший гвоздь. — Просто ненужная уродина. Но я его возьму себе, хорошо?

— Зачем? — спросил Борис, не глядя на девушку.

— А ты разогни, разогни! — шепнул ему на ухо Веннамин, жаждая реванша.

Но Борис только вскинул на него угрюмые глаза — такого фокуса не смог бы показать даже Михаил Петрович.

— Все-таки феномен, — вздохнула девушка и вежливо поблагодарила:

— Мерси.

Вениамин включил вертушку.

— Дамский танец, господа. Дамы приглашают кавалеров.

Девушка чуть улыбнулась и с готовностью протянула Борису руку.

Они потанцевали немного, потом подсели к ее столику и стали смотреть, как танцуют другие. Говорить ему не хотелось, да и девушка оказалась не очень разговорчивой. Им явно было неуютно друг с другом: она все чаще оглядывалась на дверь, он — посматривал на часы, боясь опоздать. И когда какой-то парень пригласил ее потанцевать, она охотно согласилась и ушла. А Борис вернулся к стойке, допил свою бутылку "Боржоми" и больше на зал не оглядывался. Музыка играла непрерывно, одна мелодия сменяла другую и, когда, наконец, смолкла, Веннамин, перегнувшись через стойку, толкнул рукой Бориса и вытаращил глаза. Борис понял и оглянулся. Светловолосая девушка уже сидела в компании какого-то пижона и гладила ему руку. И хотя Борису было все равно, он вдруг почувствовал себя оскорбленным. Он отодвинул от себя пустую бутылку и сделал зверское лицо.

— Только не здесь, Боря, — строго сказал Веннамин вдогонку.

Борис подошел к столику и коротко бросил пижону, поднявшему на него смеющиеся глаза:

— Выйдем, поговорим...

Тот чуть поколебался, но встал. Девушка что-то сказала ему вполголоса, видимо, предостерегая, он мотнул головой успокаивающе и двинулся вперед Бориса.

"А храбрый!" — равнодушно подумал Борис, идя вслед за ним и разглядывая узкую, чуть сутулую спину и длинную тонкую шею. "Чего, интересно, она в нем нашла, мозгляке? И почему так долго ждала? Со мной танцевала, а его ждала. И с другими — тоже, а все-таки дождалась. И гладила ему руку. Несправедливо! Я вот целый день жду. Знаю, не придет, а жду... А он, нахал, опоздал, а она радуется!"

Нахалов следует учить всегда и везде, а справедливость по возмож-

ности быстрее восстанавливать. Это Борис усвоил твердо. Он взглянул на часы — десять минут у него в запасе было. Для такого, как этот, хватит и трех. А может, и одной...

Плотно прикрыв за собой дверь туалета, Борис прислонился к ней и молча стал разглядывать стоящего перед ним парня. "Храбрый!" — снова подумал с усмешкой, пытаясь разогреть себя. Но злости не было. Была досада на себя.

— Зачем звал? — спросил парень, закладывая руки за спину.

— А ты не догадываешься?

— Не догадываюсь.

Парень смотрел, не мигая, в глаза Борису. На лацкане его пиджака поблескивал какой-то значок. Борис, размышляя, как лучше ответить, протянул руку и легко снял значок. Парень даже не моргнул.

— Такие значки носят только дешевые фраера, — сказал Борис, удивляясь себе: раньше он никогда не искал повода для драки.

— Я не дешевый фраер, — ответил парень. — А если тебе нравится значок, возьми. Он ничего не стоит.

— Мне не нравится, что ты увел у меня девушку, — сказал Борис, пропуская мимо ушей последнюю фразу.

— Это моя девушка, — возразил парень. — И ты зря привязываешься.

— Она сама вешалась мне на шею, — скучным голосом проговорил Борис, ненавидя себя за ложь и понимая, что дает парню хороший шанс врезать, но у парня оказались железные нервы.

— Это неправда, — сказал он твердо. — Она не вешалась на твою шею.

И взглянул Борису в глаза, убежденный в своей правоте.

— Не хочется пачкать руки о твою рожу, — буркнул Борис с усилием, потому что именно в это мгновение ему и захотелось ударить парня в немигающие, все понимающие глаза. Темная волна ненависти наплывала вкрадчиво и неумолимо, и он, сунув руки в карманы, отступил от двери, желая только одного — чтобы парень никак не ответил на его слова, потому что тогда уже не удержаться.

Парень оказался грамотным.

— Ладно, иди, — сказал Борис сквозь зубы. — Ты здесь действительно ни при чем. — И вколол ему в лацкан значок.

Парень бросил на него быстрый, насмешливый взгляд и, не торопясь, потянул на себя ручку двери.

Борис открыл кран, плеснул в лицо холодной воды, обтерся рукавом и пошел на улицу.

Там было сумрачно и тоскливо. Слабо и тускло горели, покачиваясь на ветру, фонари. У кинотеатра, через дорогу, толпились люди. Но он знал, что ее там нет. И не будет.

И все-таки подождал еще полчаса, пугая своим ростом и мрачным взглядом прохожих, и пошел домой, думая о том, что произошло бы, если бы парень не оказался трусом и попытался поспорить подольше о светловолосой девушке. Тогда бы он, Борис, знал, что делать, и сейчас было бы куда легче, потому что он защитил бы свою честь и достоинство и не выглядел бы таким дураком, прождав столько времени. Хотя уже с утра было ясно, что она не придет, с чего он взял, что она должна обязательно прийти? И парень вовсе не трус, просто не хотел драться — может, не умел, а может, считал недостойным для себя махаться кулаками в туалетной комнате. Он умный, а ты и здесь дурак — что и кому бы доказал, спрашивается?..

Словом, тошно было Борису, как никогда еще не бывало в жизни.

x x x

На другой день он встретил ее на углу и, не здороваясь, мрачно сказал:

— Хорошая была фильма...

— Какая фильма? — не поняла она.

— А вчера...

Она весело засмеялась, но не потому, что вспомнила о своем обещании и таким образом извинялась, просто очень хорошим было утро и слишком мрачным — этот юноша, шагавший рядом с ней. Больше он ничего не сказал, и они разошлись.

x x x

А потом долго ничего не случалось, кроме разве того, что мастерскую закрыли, рабочие разбрелись по разным цехам и дядя Миша, вернувшийся из очередной поездки в санаторную зону страны, устроил Борю на работу в маленькую типографию, где он должен был помогать печатникам изготавливать разные бланки, но заказов было немного, поэтому Борис, чтобы не получать зря зарплату, ходил на склад разгружать рулоны с бумагой и, когда просили, делал узлы из гвоздей. У печатников было много знакомых — и в пивном баре, и в кондитерской, и в гастрономе, и в соседнем райотделе милиции, на рынке, что был напротив, так что сувениров требовалось много, и Борису не приходилось скучать.

Однажды в печатный цех пришел сам директор типографии Замошкин — худой, невзрачный, с желтоватым аскетичным лицом человек, которого здесь все боялись. Видимо, до него дошли слухи о том, что цех мелкой продукции плохо помогает типографии выполнять напряженный производственный план, и он решил навести здесь порядок. Замошкин имел сильный бас, который рождался где-то в середине его маленького съежившегося живота, затянутого к тому же плетеным желтым ремнем (может, он был еще мощнее, поэтому его приходилось держать в строгой узде). Все в цехе заранее вобрали голову в плечи, страшась гнева директора, но на всякий случай подготовили коробку с гвоздями, чтобы подарок для него Борис приготовил при нем же. Так, считали, они смогут проявить к начальнику свое искреннее уважение. Бориса же попросили напрячь все силы и не подвести коллектив в столь ответственный момент.

— Этот, что ли? — спросил Замошкин почти шепотом, хотя голос его услышали даже в соседнем цехе, где тоже подготовились к встрече, но хуже, поскольку у них не было такой знаменитости, как Борис. Директор обошел Бориса со всех сторон, оглядывая его как памятник, и признался, что не ожидал найти на руководимом им предприятии такого большого и здорового юношу, которому место не в отстающем цехе малой печатной продукции, а конечно же в образцово-показательном офсетном.

— Значит, говоришь, узлы из гвоздей вяжешь? — спросил Замошкин, смотря на Бориса с заинтересованностью врача. Руки он держал за спиной и покачивался с пятки на носок и обратно, как Наполеон в фильме "Война и мир".

Борис молча пожал плечами.

— А зачем? — снова спросил директор и провел суровым взглядом по лицам начальника цеха Корзинкина, мастера Панюхина, профорга Индюкова и рабочего Клямкина, который был единственным членом партии здесь и потому как бы представлял наиболее сознательную и передовую часть коллектива.

Остальные, естественно, были на своих рабочих местах и добросовестно трудились, словно даже такое событие, как приход в цех самого директора типографии, не может нарушить установившийся в цехе строгий рабочий ритм.

— Просят, вот и вяжу, — сказал Борис тоном, который или все сразу объясняет или, напротив, загоняет начавшийся разговор в тупик. Ему было неприятно, что его рассматривают, как слона в зоопарке. В цехе он и проработал всего неделю, поэтому ответственности за отставание не нес и мог держать себя независимо.

— Просят, говоришь? — задумчиво проговорил Замошкин и уколол взглядом — каждого в отдельности — местных руководителей и активистов. Те сделали протестующие лица и замкнулись в скорбно-обиженном молчании — мы не просили, чего он!.. Коробку с гвоздями, которая стояла поблизости, на столике мастера Панюхина, заслонил своим крупным широким задом рабочий-коммунист Клямкин. Он, как и положено передовым и сознательным людям, первый уловил, в каком направлении движется стратегическая мысль командира производства.

— А гвозди-то сапожные, что ли? — неожиданно помягчев, поинтересовался Замошкин.

Борис даже покраснел от обиды, но и на этот раз промолчал, видя, какие угнетенные и напряженные лица у других стоящих тут людей. Да и само его молчание слишком красноречиво, чтобы не понять.

Замошкин понял, покачался еще немного на ногах, потом вытащил из внутреннего кармана пиджака длинный и толстый, как кочерга, гвоздь. Такого никто и не видывал, хотя Клямкин, например, недавно побывал в ГДР, а Панюхин имел дальних родственников в Польше. Но сам факт, что Замошкин пришел к ним с гвоздем, а не с ревизией деятельности, вдохновлял, и с их лиц мгновенно стаяли раздумчивые и усталые морщинки. Что им гвоздь директора, если Борис предупрежден о надеждах коллектива и не подведет!

Но Борис едва взглянул и покачал головой:

— Нет, не смогу!

— Но это гвоздь?! — поднимая высоко брови, спросил Замошкин.

— Гвоздь, — подтвердил Борис. — Только я не смогу.

— Да ты попробуй, попробуй! — горячо зашептали ему на ухо со всех сторон. — Что тебе стоит?!

Но Борис не стал пробовать — он знал, что едва ли сможет даже согнуть этот страшный гвоздь.

— Ну, вот, а говоришь — не сапожные! — удовлетворенно заметил Замошкин и спрятал гвоздь назад, в карман пиджака. — И потому, чтоб здесь аттракционов больше не было. У нас не цирк. Понятно?

— Понятно, — сказал Борис угрюмо: ему было стыдно.

И Замошкин, отправив Клямкина и профорга Индюкова работать, повел начальника цеха и мастера снимать с них стружку. Как это происходило, слышно было и сквозь шум станков во всех цехах, кроме образцово-показательного офсетного, который Замошкин оберегал от стрессов и ненужных волнений.

Воспитательное мероприятие, задуманное и с блеском реализованное директором типографии, лишило Бориса славы, коллектив и его руководителей — бесплатных сувениров и квартальной премии. Но Борис на следующий же день встретил в трамвае Светлану и думать забыл об утраченных лаврах.

Борис проводил ее до угла — дальше, сказала Светлана, нельзя, потому что здесь — граница, а там уже другое государство. И вход ему, Борису, туда запрещен — и сегодня, и вообще... Тут она запнулась, выходило — предполагает такую возможность, что он будет провожать ее в дальнейшем.

— Почему, граница? — не понял Борис. Он посмотрел туда, куда она показала рукой, и увидел только ши-

рокую, запружеиную машинами улицу, три зеленых огонька светофора, подмигивавших в этот момент ему дружно и загадочно.

— Потому что — граница!

Она так это сказала, словно произнесла длинную речь, которую давно готовила, хотя установка пограничного столба была произведена ею в самую последиюю минуту — когда она остановилась и взглянула на него. Мы уже говорили, что Светлана была умная и прозорливая девушка: она прочитала в его глазах, что это не случайный порыв, а вполне осознанное действие с продолжением. И чтобы не обижать резким словом, решила провести границу и предупредить, что ее нарушение может вызвать серьезный конфликт.

Борис подумал и согласился соблюдать суверенитет и независимость другого государства.

И начался период мирного сосуществования: утром он встречал Светлану на углу, и они вместе шли к заводу, откуда он бежал в свою типографию, вечером дожидался ее у газетного киоска, недалеко от проходной, и они шли до границы, где расставались.

Так продолжалось целую неделю, пока, наконец, не случилось того, что рано или поздно, с точки зрения Светланы, должно было произойти, а по мнению Бориса — не могло произойти никогда.

Но мы забегаем несколько вперед...

Через неделю она сказала: "Я ни разу не была на Таганке. Все говорят, а я не была". И он загнал последние хорошие книги из библиотеки отца, которые тот собирал со студенческих лет и которые не отдала ему мать, когда они разошлись: она считала, что он и без того выпил у нее всю кровь, чтобы уносить еще и книги, нужные для нравственного и духовного становления сына... Причем, загнал после того, как дал матери и отчиму честное слово, что навсегда забудет эту пагубную для души привычку продавать книги вместо того, чтобы их читать и размышлять над ними...

Она не пришла.

Но теперь его это просто взбесило. Он хотел сразу же поехать к ней домой и объясниться. Вернее, высказать ей все, что думает: "Вы же сами попросили достать билет в театр на Таганке. Я достал, ждал вас полтора часа, а вы?!"

Так, наверное, должны прозвучать первые слова, едва она откроет дверь.

Борис повторял их про себя, и они показались ему убедительными. Но он вдруг вспомнил, что не знает дома, в котором она живет.

Дом был за границей, которую он ни разу не переходил. И может, она живет не в доме, как все люди, а на каком-то хорошо засекреченном объекте, куда пускают только с пропуском или вообще не пускают? Но если туда проведен телефон, и он, Борис, знает номер, значит, никакой это не секретный объект. Просто дурила ему голову, как все красивые девушки, которые всегда создают искусственные преграды, потому что иначе им неинтересно...

Борис подошел к телефону-автомату. В будке стоял и трепался прыщавый, подстриженный под идиота парень.

Он подождал, потом стукнул монетой по стеклу. Парень, едва взглянув, продолжал говорить в трубку.

— Выходи, — сказал Борис, открывая дверь.

Парень гневно дернулся, но увидев Бориса в полный рост, послушно положил трубку и уступил кабину. Борис согнулся у телефона.

— Думал, ты на ходулях, — сказал парень ему в спину и задумчиво почесал, как муха, одну ногу другой.

Трубку там, на той стороне, долго не снимали. Потом раздался тихий женский голос.

— Мне Светлану Афанасьевну, — сказал Борис, зачем-то изменяя голос.

— Ее нет.

— А где она? — удивился он своим голосом.

— Она на даче.

— А где это?

— В Одинцове... — начала было женщина и вдруг насторожилась. — Кто ее спрашивает?

— Это с работы, — нашелся Борис. — Возник один производственный вопрос... А на даче есть телефон?

— Телефона на даче нет.

— А где, на какой улице дача?

— Не могу сказать, — ответила женщина. — Я там не была.

Наверное, приезжая какая-нибудь родственница или знакомая, подумал Борис. Но он знал теперь, где находится дача. А это — главное...

x x x

Спустя час с небольшим Борис шел незнакомым поселком, между длинных заборов, за которыми шумели деревья, светились отраженным солнечным светом окна домов.

Дома были красивые и разные: одни похожие на замки, другие — на окаменевшие торты. Собаки же, в великом множестве слонявшиеся за заборами, казались одинаковыми — маленькие, грязные, ленивые, безголосые... Или просто было жарко, и им не хотелось лаять?

Борис на них внимания не обращал — шагал себе и шагал, загадывая, если там, за поворотом, будет кирпичная дача, он повернет налево, если деревянная — направо...

Дважды ему пришлось идти налево и ни разу — направо. А почему именно так получалось, не думал, размышляя над тем, что скажет, когда увидит Светлану. Ну, наверное, — "почему вы не пришли?" или "почему вы меня обманули?" или даже: "Я не шкет, чтобы пудрить мне мозги!"

Он несколько раз повторил про себя последнюю фразу и решительно отбросил: слово "шкет" показалось грубым и неприличным. "Обидится еще", — подумал уныло и решил вообще ничего не говорить, а действовать по обстановке.

Хотя и было еще светло, но сумерки уже сгущались и, казалось, все вокруг заливают синими чернилами. Наконец, заборы кончились, и Борис оказался на заросшей мягкой травой широкой улице. Дома на ней были победнее, зато отовсюду весело выглядывали цветы, они росли даже вдоль асфальтированной тропинки, которая шла вдоль дач, огромные, похожие на лопух, листья и ярко-голубые, словно нанизанные на нитки, шарики соцветий.

Борис нагнулся, чтобы понюхать, и в этот момент сзади в ноги уткнулся велосипедист. Ему было лет шесть-семь.

Запрокинув голову, он смотрел на Бориса с восхищением.

— Дядя Степа, да? — спросил он и шмыгнул носом. — А я звоню-звоню, а ты не слышал, да? И тебя чуть не задавил, хотя ты и длинный...

— Ага, — сказал Борис. — Чуть не задавил. Уже поздно, не заблудишься?

— А ты, раз длинный, ходи по дороге, — наставительно заметил велосипедист.

— Хорошо, — согласился Борис и шагнул через канаву на дорогу. — Ты не скажешь, где тут живет Светлана Афанасьевна?

— Знаю, но не скажу, — нахмурился велосипедист и поехал, крутя изо всех сил педалями. Потом остановился и, обернув к Борису разгоряченное ездой лицо, издали показал на маленький домик с цветущей сиренью у калитки...

За калиткой светилась узенькая дорожка, ведущая к веранде с распахнутой дверью.

Свет с веранды падал на раскидистый куст, который тоже, казалось, светился.

Борис подошел к открытой двери и заглянул на веранду. Там, за столом, сидел плотный пожилой мужчина и читал газету.

— Здравствуйте! — вежливо сказал Борис.

— Здравствуйте, — ответил мужчина и тряхнул газетой, выпрямляя погнувшийся лист. У него были глаза Светланы.

— А Светлана дома? — спросил Борис.

— Пока нет, но проходите, садитесь. Она скоро будет.

Борис поднялся по скрипнувшим ступенькам крыльца на веранду и сел на стул напротив мужчины. Тот еще раз посмотрел на него из-под очков и еще раз тряхнул газетой. Потом стал читать, шевеля губами. Сейчас он совсем не походил на Светлану — скорее на вахтера дядю Ваню в типографской проходной.

Так молча они сидели долго, и Борису стало скучно. Он уже все разглядел, что было можно, и теперь думал о том, что хозяин мог бы быть к нему и повнимательнее.

Он осторожно кашлянул в кулак, чтобы мужчина отвлекся от своей газеты, и тогда бы можно было у него что-нибудь спросить.

— Вы, наверное, много курите? — сказал мужчина, складывая газету и кладя ее на стол.

— Почему? — удивился Борис.

— Вот — кашляете...

— А-а. Нет, я не курю.

— Тогда, значит, простыли, и вам следует на ночь попить горячего чая с малиновым вареньем, — сказал мужчина, снимая очки и складывая их в футляр. — А еще лучше с липовым медом.

— Мне этого не надо, — сказал Борис и пояснил: — Я никогда не болею.

— Не следует так говорить! — возразил мужчина строго. — Нельзя искушать судьбу. Она только и ждет, чтобы поймать человека на неловком слове или оговорке.

И он чуть отклонился в сторону, как бы заглядывая за спину Борису, словно там, и вправду, увидел затаившуюся судьбу.

Борис машинально тоже оглянулся, а мужчина засмеялся.

— Чего вы смеетесь? — спросил Борис, недоумевая.

— Вы оглянулись и, значит, верите в судьбу. Ну, в то, что она где-то может быть рядом.

— Я верю в судьбу, — сказал Борис. — И в то, что она может быть рядом.

Он вспомнил, как шел по незнакомому поселку, загадывал повороты и как нашел дом Светланы. Подсказка мальчишки-велосипедиста не в счет — он все равно и сам зашел бы сюда. И если это не судьба, тогда что же?

Мужчина добродушно улыбнулся:

— Это право каждого человека — верить или не верить в судьбу. Когда мне было столько лет, сколько вам, я пошел на вокзал и купил билет на самый дальний поезд. У меня было двадцать рублей, запасная рубашка и несколько книг, которые любил перечитывать. Я хотел начать жизнь на новом месте, среди новых людей и с тем, что лично мне принадлежало: деньги на дорогу я заработал, разгружая вагоны, книги мне подарили в дни рождения, а рубашку купил за два часа до отъезда в привокзальном универмаге. На третьи сутки я вышел на незнакомой станции, подбросил пятак — выпал "орел", и я двинулся по дороге, которая уходила налево. Конечно, не знаю, что бы было, если бы выпала "решка", но там, куда пришел, меня действительно ждала судьба. Я ей доверился, и не жалел о

том ни одного дня, ни часа даже. И сейчас, спустя столько лет, не жалею.

Борис слушал и поражался, как все у них совпадает: он тоже загадывал и тоже сворачивал налево, причем дважды, и вот пришел туда, куда стремился прийти... И ему захотелось сделать человеку приятное.

—У вас есть гвозди? — спросил он.

— Гвозди? — удивился мужчина. — Ну, конечно, есть! А вам много надо?

— Нет, один-два... только больших.

Мужчина ушел в дом и скоро вернулся с деревянной коробкой.

— Вот, выбирайте...

Хороших гвоздей не было, Борис взял самый длинный, и ему пришлось приложить всю силу, чтобы более-менее сносно справиться с ним. Узел, конечно, получился не ахти какой. Мужчина с удивленнем осмотрел его, крутя перед глазами.

— Короткий очень, — сказал Борис смущенно.

— Ну, и силища у тебя! — воскликнул мужчина. — Или тут еще какой секрет есть?

— Есть и секрет, — признался Борис: обманывать отца Светланы не хотелось. И он, взяв другой гвоздь, показал, как надо держать, чтобы согнуть, что делать потом, чтобы скрутить в узел...

— Здорово! — восхитился мужчина. — Давай-ка я попробую!

Но ничего, конечно, у него не вышло: при всех хитростях здесь требовалась и сила в пальцах. Мужчина, однако, долго не хотел сдаваться — со всей силой давил на гвоздь и сердился, видя, что он не сгибается. "Как бы не надорвался", — с тревогой подумал Борис, сопереживая усилиям мужчины.

— Что вы здесь делаете?

Голос вошедшей Светланы застал обоих врасплох. Она, остановившись на пороге, с удивлением смотрела на отца и Бориса и на стол с разбросанными на нем гвоздями.

— А-а, Света, — сказал мужчина, поднимая голову. — Вот этот молодой человек научил меня сгибать гвозди, только они меня не слушаются. Ты посмотри, как он ловко это сделал!

И протянул ей свернутый в узел гвоздь. Светлана взяла, осмотрела и вернула назад.

— Очень интересно, — проговорила она насмешливо и поманила Бориса за собой.

— Как ты меня нашел? — спросила она, когда они спустились вниз.

— Не знаю, — ответил Борис.

— А зачем ты здесь?

— Не знаю, — повторил он, смотря себе под ноги.

— Я тебя не приглашала, — строго сказала Светлана, хмуря брови. Теперь она очень походила на своего отца, читавшего газету.

— Да, — печально согласился он.

— Понимаешь, это не гвоздь.

Борис непонимающе взглянул на нее.

— Здесь не нужна сила, — пояснила Светлана и, чуть отстранившись, снизу посмотрела на него. И добавила: — Ни сила, ни упорство, ни находчивость.

— А что нужно? — спросил он растерянно.

— Ничего не нужно.

— Так не бывает, — не согласился он.

— Бывает, — грустно подтвердила Светлана и, встав на цыпочки, приблизила к нему лицо. — Людям достаточно посмотреть друг другу в глаза, чтобы э т о понять. Понять: есть э т о или нет. Ты не понял?

Борис молча кивнул.

— Вот видишь! — сухо рассмеялась она, снова отодвигаясь в тень. — Потому ты и задаешь так много ненужных вопросов. А у э т о г о вопросов не бывает, э т о — и во-

прос, и ответ сразу, одновременно! Поэтому тебе сейчас надо уйти!

— Да, — сказал он и, наступив на свою длинную, во всю протяженность дорожки тень, пошел к калитке.

— Автобус направо, за углом! — крикнула Светлана, когда Борис потянул калитку на себя.

Он слышал ее слова, но шагнул налево: ему было все равно, куда идти — везде стояла мягкая, теплая, темная ночь, слегка подсвеченная высокими фонарями. Тихо шелестели над головой невидимые деревья, покачивая на своих ветвях звезды.

Желтый светящийся круг лег под ноги, и он почему-то обошел его, словно лужу. Потом оглянулся, не понимая, зачем, но злые, непонятные слезы, наплывшие откуда-то на глаза, сдавили горло.

Он мгновенно постоял, откашлялся, с силой стер с лица влагу и погрузился с головой в ночь. Вскоре показался новый фонарь и новый светлый круг на земле, словно кто-то пометил обратную дорогу в мир, где вопросы и ответы существуют отдельно и независимо друг от друга, но где нужна сила, чтобы согнуть в узел большой гвоздь, который сразу же перестает быть гвоздем, а становится непонятно чем, потому что гвозди нужны людям, чтобы их забивать...

ТВОЙ СВЕРСТНИК

НА ВСЕ ВРЕМЕНА

В КОЛЬЦЕ

Сергей ДИНОВ

Многие наши герои не знакомы друг с другом. Как же сошлись они все вместе на этих страницах?

Несколько лет назад, работая в многотиражке Ленинградского текстильного объединения "Возрождение", я встретил в его цехах ткачей, механиков, наладчиков, электриков, мастеров – сотни пожилых людей, прошедших через войну. Подростками они оказались в блокадном Ленинграде. Их роднят испытания в тяжкую для нашей Родины годину. Для них то была особая война – без атак, побед и всенародных почестей. Может быть, поэтому последнее поколение свидетелей Великой Отечественной так не любит ее вспоминать. Им до жуткой, сердечной боли не хотелось – хотя бы памятью! – снова возвращаться т у д а, в голод, страх, гибель близких: – Сейчас... Вот чуток соберусь с силами.

СВОИ И ЧУЖИЕ

М.А. Санаев. Весна в Ленинграде была холодная, долгая. Первый по-настоящему солнечный теплый день выдался двадцать второго июня, в воскресенье. Это я помню наверняка, ведь в тот день мне исполнилось двенадцать лет!

С самого ранья мы с мальчишками, которые жили в нашем огромном доме на Измайловском проспекте, но были постарше и уже учились в ремеслухе, поехали в Госнардом – на Петроградскую сторону. Там были разные аттракционы и прежде всего – американские горы. Ну, и конечно, буфет. Когда один из моих приятелей вытащил тридцатку, чтоб расплатиться за мороженое и лимонад, официантка сразу к нему:

– А откуда у тебя такие деньги?

Чуть не испортила нам весь праздник. Пришлось товарищу объяснять, что он уже не маленький, гуляет на свои законные. Само собой, я чувствовал себя в такой компании совсем взрослым.

А потом завернули в тир. Там один летчик стрелял!.. Без единого промаха. Кто-то говорит:

– Вот если б у нас так стреляли все военные, мы бы всем показали! Никто б не посмел сунуться! – И в тот самый момент раздался из репродуктора голос Молотова. Война!

А я, двенадцатилетний, шел домой и молча рассуждал: "Я-то хоть уже большой, повидал кое-чего в жизни, мне-то что. А вот сестренка как? Ей же, бедной, еще и восьми нет."

Э.Ф. Щелкунова. "Мы с мамой получили разрешение на эвакуацию и перед самым отъездом поехали проведать папу. Он оставался в Пушкине, работал там на химзаводе, кажется, начальником пожарной охраны. Война продолжалась уже больше двух месяцев, но папу на фронт не брали: после старой производственной травмы у него на руке не хватало пальцев.

Приехали мы с мамой в Пушкин и не успели отойти от станции – бомбежка. Пришлось забежать в убежище. Сидели там томительно долго. Неожиданно появляется папа: кто-то из заводских сказал, что мы здесь, и он прибежал. Вроде уже нам спокойней: все-таки вместе.

А над головой грохочет, грохочет... И вдруг, хотя наверху еще нисколько не утихло, распахивается дверь – значит, можно выходить. Люди наверх. А там, у выхода из убежища, – немцы! Стоят с автоматами, кричат что-то по-своему, откуда-то и ружейный треск, мотоциклы носятся...

Когда я их увидела, у меня сразу такое... такой страх! Страх перед чужими! Ведь для нас это были не просто чужие люди, язык, одежда – это было все неизвестное, чуждое. Это были, как... инопланетяне, вот!

МАРТИРОЛОГ

Часть первая

По официальной статистике 8 сентября 1941 года, в первый день блокады, в Ленинграде оставалось 2 миллиона 544 тысячи мирных граждан. Из них каждый пятый еще не достиг совершеннолетия.

Правда, в большинстве публикаций сказано, что в городе находилось около 400 тысяч детей. Но это не так. Вот архивные данные: всего двумя сутками ранее в Ленинграде, без учета Пушкина и Петродворца, было выдано 459 тысяч 200 детских продовольственных карточек. Однако и эти сведения далеко не полные. Во-первых, карточки не выдавались ребятам из спецшкол и детских домов, которые кормились из общего котла.

А во-вторых, – и это, наверное, самое дикое – детские продуктовые карточки распространялись только на не достигших 12-ти лет. Двенадцати-пятнадцатилетние подростки, которые по всем законам еще вчера считались несовершеннолетними, одним росчерком пера были зачислены во взрослые (точнее – в иждивенцы, которым выдавался самый скудный паек).

Так ленинградские подростки были обречены умирать первыми от блокадного голода...

Рассказ Л.Я. Степановой

Еще две недели назад люди эвакуировались в тыл на поездах, а мы в середине сентября сорок первого года – в открытом грузовике. Потому что уже началась блокада, и ехать нам было всего ничего – из Московского района, который превратился в прифронтовую зону, в центр города, ставший тылом.

Погрузили наши вещички, нас четверых – маму, папу, Мишу, – это мой старший брат, и меня – и отвезли в дом номер пять по улице Рубинштейна. Это третий дом от Невского проспекта, на той стороне, где на углу рыбный магазин.

Конечно, мама с папой могли своевременно, еще в начале июля, отправить нас с братом из Ленинграда. В те дни, несмотря на летние каникулы, всех ребят собрали в школе и объявили: кого родители согласятся отпустить, тот уедет. Дома на семейном совете мама сказала:

– Многие женщины оставляют детей. Отправка по желанию. Раз по желанию, значит, ничего серьезного, перестраховка. Значит, Ленинград не сдадут. Лучше нам быть всем вместе. – И папа с ней согласился.

Даже в сентябре война не казалась смертельно опасной. Во всяком случае для Миши, которому было уже тринадцать: как бомбежка – он – на крышу, тушить зажигалки. Я пыталась увязаться следом, но он мне сразу отрезал:

– Ты девчонка, а воевать – не девчонское дело! Мало ли что случится! Мы, мальчишки, прорвемся, а с тобой чего? Возиться?

От кого прорываться? Куда? Война еще оставляла место романтике.

Прежде мама работала поваром в детском саду, в том самом, куда мы с Мишей ходили, когда были маленькими. В августе сорок первого малышей куда-то эвакуировали, а сад закрыли, поэтому мама перестала работать. А папа в сентябре еще несколько раз ходил на службу, но вскоре и он стал целыми днями сидеть дома. Папа был контролером ОТК на "Скороходе". Он страдал чахоткой, так что на фронт его, конечно, не пускали.

На Сызранской улице у нас была на четверых комната пятнадцать метров, а здесь, на Рубинштейна, досталась побольше – метров двадцать. Но в ней было все чужое – еще недавно тут жили какие-то артисты, – и папе было абсолютно нечего делать. Зато маме выпало забот невпроворот. И прежде-то быт был тяжелый, а с началом блокады сделалось совсем невмоготу. Каждый шаг превращался в задачу неимоверной сложности. Главное – это, конечно же, поесть. У мамы с папой оставались рабочие карточки, у меня – детская, а у Миши – иждивенческая. Но делили паек так: отцу мама давала побольше – он же мужчина да к тому же больной, потом нам с братом, а уж что останется – себе.

Первым слег папа. Тогда нам казалось, что это из-за туберкулеза. Только гораздо позже я увидела, что мужской организм тяжелей переносит голод. Следом слег Миша. После – мама.

Я и прежде была у мамы помощ-

ницей. У нас так было заведено в семье. Я даже не помню, чтоб когда-нибудь играла в куклы. Я была у мамы на подхвате, и это мне казалось более интересным, чем игрушки. Но с конца сорок первого года надо было стать не помощницей, а самой все делать. От меня стала зависеть жизнь всей нашей семьи!

Правда, обязанности мои, по сравнению с маминым, заметно поубавились. Например, мытье. Еще в октябре и даже, по-моему, в ноябре мама устраивала банные дни. Если текло из крана, запасали воду заранее, а нет – приносили с Фонтанки, кто сколько мог. Мама нагревала на печке большую кастрюлю и мыла в тазу сначала меня, потом Мишу, а потом и они с папой мылись. Я никаких банных дней, само собой, устраивать не могла. И печку топила всего раз в день. И уборку делала не так тщательно... Каждый шаг давался гораздо трудней – наступил сорок второй год.

Зимой в Ленинграде утра поздние, поэтому как ни старались продлить сон, просыпались все равно до свету. Я лежала, ждала когда развиднеется, чтоб не жечь попусту коптилку. Но слишком долго валяться тоже было нельзя: надо идти за хлебом. Поднималась, укутывалась во что только можно и уходила. Это был священный ритуал: я уходила за самой жизнью!

На улицах, на набережной Фонтанки валялись трупы, некоторые вмерзли в лед. Лежали мертвецы и на Невском. Периодически их убирали, но голодная смерть косила так скоро, что для уборок не хватало ни сил, ни людей, ни транспорта. Еще в первый раз, когда я увидела перед собой на тротуаре мертвеца, я старалась не смотреть, обойти как можно дальше. Но вскоре стало совершенно все равно.

Да, через мертвецов перешагивали, будто через бревно. Однако, если во встречном еще хоть чуточку теплилась жизнь, ему обязательно помогали. Вот сидит кто-то, дышит, смотрит, даже оглядывается и пытается подняться. Подойдут, поставят на ноги, насильно иногда, может, и немного грубовато, тормошат:

"– Ну, пошли, пошли! Давай, давай!"

И человек оживает, идет. Правда, нередко он вскоре опять садится в сугроб, но кто-то другой его опять поднимает. Так было спасено немало ленинградцев. А когда человек уже замерз, мертв, тогда что?.. помочь ничем не можешь. Плакать же, горевать – на это не оставалось сил.

...То, что рассказываю, – не про весь Ленинград, а лишь про тот маленький островок, на котором мы жили в самом центре. Думаю, очень мало кто из ленинградцев мог бы рассказать, какой была блокада во всем городе, – только о себе, о близких своих, о своем островке, потому что никто нигде не бывал. Все сузилось: заботы, мечты, быт, география...

Последняя моя дальняя вылазка – зимой уже, к бабушке. Она жила неподалеку от Московских ворот на Ломаной улице, рядом с обувными фабриками "Пролетарская победа". Комнатка – в подвале, там и до войны-то было всегда холодно, сыро, а в тот мой последний приход и вовсе хуже, чем на улице. Бабушка уже лежала, не вставала. Подсела я к ней,

рассказала, что у нас тоже все слегли, и я осталась одна за главную.

Я сидела рядом с ней, и до меня как-то не доходило, что больше мне бабушку никогда не увидеть. Мне казалось, мама, папа, Миша, бабушка... что они все не могут встать только временно, что это такая болезнь, что это пройдет и они снова поправятся. Возможно, это потому, что я прежде не видела, чтобы кто-то из моих близких умер? В детстве ведь все родные кажутся бессмертными.

Я, когда шла к бабушке, еле передвигала ноги, а в начале сорок второго я совсем плелась едва-едва. Булочная была рядышком, на другой стороне Невского, почти напротив улицы Рубинштейна, в доме на углу Невского и Литейного, но для меня дорога туда и обратно была дальним походом.

Уже после войны я не раз слыхала, как женщины вспоминают, что в блокаду приходилось стоять в очередях за хлебом чуть не полдня. А я не помню такого. Мне кажется, гораздо меньше – ну, полтора часа, два. Вероятно, я ошибаюсь, просто стояла в каком-то голодном сне, вне времени. Но разговоры в очередях помню прекрасно: куда-то завезли сегодня хлеб самый настоящий, ну впрямь как довоенный, а вот там-то давали даже крупу, а там-то жир... Короче, всякие небылицы. Как обычно в очередях. Даже еще больше, потому что ничто так не распаляет воображение, как голод.

Мама еще приносила иногда крупу, а я уже – ничего, кроме хлеба. Мне отвешивали наши четыре пайка, я несла эту драгоценность домой. Подмывало откусить кусочек, хоть капельку, самую малость! Но я никогда не делала этого. Твердила себе: "Это потом, а то приду – все будут есть, а у меня ничего". Уж и ноги подкашиваются от слабости, и, кажется, отломаю крошечку, станет легче, но все равно не отламывала.

На улицах постоянно дежурили люди – вот они да те, кто дежурил в булочных, я считаю, настоящие герои! – эти дежурные при бомбежке или обстреле загоняли всех в убежище. Насильно, потому что никто уже не боялся никаких бомб и снарядов, не оставалось сил бояться. И если я попадала вместе с другими в убежище, то сидела там вся на нервах: мои будут волноваться! Нервничала не из-за того даже, что будут волноваться за меня, а что испугаются, как бы не остаться без хлеба. Была другая психология, все другое, все вверх ногами!

Я приносила домой хлеб и отдавала каждому ту долю, какая ему положена по норме. Маме с папой – по рабочим карточкам, Мише – по иждивенческой, себе – по детской. Единственное только: поскольку у Миши оказывался совсем мизер, то довесок, который продавщица клала сверху, чтобы было грамм в грамм, – этот довесочек я отдавала брату. Отрезать от своего пайка было выше всяких сил, а уж довесок – пусть.

Отец свою пайку сразу убирал под подушку. А мама завернет хлебец в тряпицу и потом крошечку – мне, крошечку – Мише!..

Папе тоже давала, но он не брал, говорил:

"– Не надо, у меня есть".

И правда, у него всегда под подушкой лежал хлеб. Он не съедал свой паек. То ли у него пропал аппетит, то ли он хотел быстрей покончить со всем этим... Боюсь гадать.

Кроме хлеба, всегда старались приготовить что-то горячее. Сперва у нас была в кадушке зеленая квашеная капуста, из которой я варила щи. Когда капуста вышла, отец показал мне, чтоб взяла отмокавшие в воде кожи:

"– Отвари их. Это мездра".

А когда кончилось и то и другое,

я просто кипятила на буржуйке воду, и мы крошили в кипяток хлеб, и получался тоже какой-никакой супчик.

На улицу мне обычно надо было ходить дважды в день: первый раз – в булочную, второй – за водой, на Фонтанку. Наледи у полыньи были огромные, и хоть в свое десятилитровое ведро я набирала совсем немножко, нередко оскальзывалась, без посторонней помощи можно было не выбраться наверх, поэтому к лунке спускалась, только когда есть кто-то рядом.

Воду приносила, во-первых, чтобы вскипятить для еды, а во-вторых, – всем хоть немного умыться. Стирать уже не стирали, появились, само собой, насекомые, но всякое утро мы должны были помыть руки и лицо – тут мама была неумолима. Она по-женски понимала, чувствовала, что это нам необходимо уже не столько для гигиены, сколько для того, чтобы еще раз ощутить в себе человеческое, чтоб не опускаться.

Самое тяжелое время наступало после обеда. Есть все равно хочется, спасу нет, а осталась всего только крошечная краюшечка на перед сном. Кроме того, неизвестно, что делать: еще светло, до вечера далеко... ждали, когда снова стемнеет, а это в Ленинграде зимой, слава Богу, рано – часов в пять-шесть – тогда уже я тоже ложилась. Лежали молча. Говорить было не о чем. Лежали, пока не заснем.

...Еще до войны мама нам твердила:

"– Тише, не шумите, папа болен. Ему плохо. Не беспокойте папу". – Но я и представить себе не могла, что даже папа, такой большой человек, может умереть. До последнего мне это, повторяю, казалось немыслимым, невозможным.

И все-таки папа умер.

Еще с вечера он совсем перестал говорить. Мама сразу почувствовала, что с ним что-то не так, что плохо ему. Сама подняться не в силах, так она мне:

"– Пойди, посмотри. Подай горячей водички попить".

Я подошла, напоила. Все равно молчит.

Я еще несколько раз подходила к папе, спрашивала, не надо ли ему чего. Но он так и не проронил ни слова.

А утром проснулись – папа мертв. Мы даже не знали, когда это произошло. Мы с мамой спрашиваем:

"– Миша, ты что-нибудь слышал? Может, папа сказал тебе что-нибудь?"

"– Нет, – говорит, – я спал".

Не знаю, как бы я обошлась одна. Ведь надо было отвезти тело. Папа был для меня непомерно тяжел. Меня хватило только на то, чтобы повернуть его на бок, не больше.

Выручила соседка. Она была единственной, кого мы во второй половине сентября застали в этой огромной коммунальной квартире. Она жила здесь уже давно и, конечно, хорошо знала бывших хозяев нашей новой комнаты. Еще запомнилось, что как-то раз она дала нам полстаканчика соевого молока. Точней, продала, но это все равно что подарила, потому что молоко – хоть и соевое – было дороже любых денег.

И вот, когда папа умер, эта соседка снова помогла. Мы с ней вдвоем положили на ванну какие-то доски, потом притащили туда папу, взгромоздили на доски и зашили в про-

стыню. Ну, а потом спустили его на саночках вниз с шестого этажа, и дальше я повезла саночки сама.

Мне, не помню кто, назвал адрес. Сначала я плелась по Невскому, потом свернула на какую-то улицу, и там был забор. Я до сих пор не знаю, где это. Ворота в заборе были заперты. Я постучала, мне открыли. И только открыли, я увидела весь двор внутри за этим за забором: посредине грузовик, а из кузова свисают руки, ноги...

Мужчина, который мне открыл, спрашивает:

– Тебе что, девочка? – Но тут же заметил за мной санки: – Заезжай.

Вошла я во двор. Подошли двое, молча взяли папу и бросили на тот грузовичок поверх всех тел.

– Все, – говорят, – можешь идти. Документы умершего отнесешь потом в исполком, паспорт то есть. Знаешь, где это? – Я кивнула. – Ну вот, – говорят, – там все оформят. А теперь иди, нечего тебе тут смотреть.

Я спрашиваю:

– А где папу похоронят?

– Мы еще и сами не знаем. Куда скажут гнать машину, туда и поедем.

Так и пошла. Иду и думаю: после как-нибудь приду сюда и узнаю, куда свезли. Иду, размышляю так, а ноги сами поворачивают назад. Возвращаюсь и снова со своим вопросом:

– А в основном-то, дяденька, куда всех свозите?

– Да в разные места. Но в основном за Пискаревку. Знаешь такую речку?

Вот по сегодня так и считаю, что мое – Пискаревское кладбище.

...Папа умер седьмого марта, мама – одиннадцатого марта. Миша – пятнадцатого марта. Один за другим... Они умерли, а я осталась! Выжила. Выжила, наверное, только благодаря им: мне надо было о них заботиться, меня все время поддерживало, что я последняя им подмога, слягу – умрем все наверняка.

Ф.П. Павлов. Около Верейской улицы на Мало-Детскосельском проспекте возник блокадный рынок. Чего там только не было! От старинных драгоценностей до капустной хряпы. А цены!.. Мать отдала обручальное кольцо за стакан пшеной крупы. Откуда эта крупа появлялась на рынке, одному Богу известно. Зато другие вещи... Идешь по улице, лежит мертвец, а у него, простите, – задницы нет. Обрезана. На следующий день на Мало-Детскосельском торгуют студнем.

Иные ловчили, опускались до звериного состояния. Но порядочные все-таки выживали чаще. Злом спастись людям еще никогда не удавалось, а добром – да.

Мама в первую же блокадную зиму стала работать дворником. И вот приходит как-то домоуправ – по-нынешнему это простой техник-смотритель, но тогда должность недаром так называлась, человек действительно управлял всем домом, власть у него была большая, – в общем, приходит эта женщина и заявляет:

– Что-то у меня мыши развелись. Дайте мне на время своего кота.

Начальству как откажешь? После мама ходила-ходила, не отдает. Наконец, я пошел сам.

– Где наш Васька?

– Ты что? – смеется. – С ума спятил?! Я его съела давно!

Г.С. Пищулина. Обычно я целыми днями сидела у окна. Дом наш, номер тридцать один по Воронежской, как раз выходил на церковь, что на Боровой улице. До войны, говорили, она была еще действующей, а в блокаду в ней устроили бомбоубежище.

Сижу у окна, вся закутанная в одежду, в одеяла – только оставлена

узкая щелочка для глаз, – и смотрю на улицу. Считаю, сколько трупов вынесут из убежища. И вот, глядишь, положили на снег покойника, а потом, как нет никого, кто-нибудь из прохожих быстренько так – раз! – ножом под простыню. От некоторых, когда уже увозили на грузовике, оставались одни косточки.

Родственники наши работали на текстильной фабрике имени Анисимова. Там работал мой дядя, но он в самом начале войны ушел на фронт танкистом. Там же работали папина сестра – тетя Шура, она была главным бухгалтером; и мамина сестра – тетя Нина, кем она была, не помню. Помню только, что обе они часто приносили с фабрики гонки.

Гонки – это кожаные детали ткацких станков, вроде ручки от большого чемодана. До войны, когда гонок перетирался, его выбрасывали в подвал. Ну а теперь с этого подвала выдавали работникам, будто с продовольственного склада. Мы эти гонки вымачивали в кипятке суток трое, по-моему, если не дольше. Потом прокручивали через мясорубку и варили студень.

А мама пошла служить в милицию регулировщицей. Ей с работы приносить было нечего. Зато я иногда просила:

– "Возьми меня с собой на дежурство", – и она нередко брала, хотя это не очень-то разрешалось.

Мама стояла регулировщицей на Невском. Где центральные кассы "Аэрофлота" – там был ее перекресток, а рядом с кондитерской стояла милицейская будка. В этой будке я и сидела, пока мама работала.

Вместе мы ходили с ней в столовую на угол Мойки. Там на мамину рабочую карточку нам выдавали дрожжевой суп – это как молоко сильно разведенное и больше ничего, а также бобовый суп – вода, забеленная кое-какими жирами и заправленная двумя-тремя фасолинами. Другой раз еще давали нам кусочек сахарина или глюкозы. И за все вырезали из карточек талоны.

Иногда бегали в столовую просто погреться.

Е.В. Осипова. Нюра Андреева меня спасла, соседка. Взяла к себе, обовшивевшую, стоявшую уже одной ногой в могиле. Свои дети у Нюры погибли, я стала ей приемной дочерью. Сперва она меня подкормила настолько, что я опять стала ходить. Потом отправилась к коменданту нашего общежития и какими-то правдами и неправдами уговорила дать выписку из домовой книги, что я не с двадцать шестого года, а с двадцать пятого, то есть что мне уже шестнадцать. По этой бумажке мне выдали паспорт, а уже с паспортом Нюра повела меня к себе на кирпичный завод.

Кирпичным он был до войны, а теперь его превратили в крематорий. Сначала меня поставили работать на дворе – подавала чурки в пилу. Но вскоре перевели внутрь – туда, где жгут покойников.

В печь загонялись вагонетки, в каждой по тридцать трупов. Вместо потолка в печи настил с большими дырками, через эти дырки мы должны были кидать сверху на вагонетки дрова и сланец. Потом берешь длинную кочергу – достать ей до трупа, повернуть его на бок, чтоб горел как следует. Я маленькая, тощая, слабая, в чем только душа де-

ржится, мне одной не справиться, я то и дело кричала Нюре:

– "Ню-рка! Помоги!"

Мы с ней хватались вдвоем за кочергу и шуровали. Тут – одна печь, там – другая, тут – Нюра, там – я.

Разные встречались люди. Далеко не все были такие, как Нюра. Некоторые откровенно наживались на блокаде, на общем горе. Заводик небольшой, народа работало немного, двор постоянно забит грузовиками с покойниками. Работа тяжелейшая – перегрузить с грузовиков на вагонетки: потом – дальше в печь. Женщины – а мужчин у нас почти не было – делали все быстро, только комбинезон на ходу – вжик, вжик. И вот при таком темпе, такой нагрузке иные успевали искать на покойниках золото, драгоценности.

Однажды захожу в каптерку – тесную, полутемную, – а там, в самом укромном уголке стоит стакан и в нем человеческий палец с кольцом. Отмокает. Видно, не снять было кольцо, так отрезали весь палец, чтобы, значит, потом...

За все это, конечно, строжайше наказывали. Это – мародерство. Но для таких жадность была сильней страха. Золото искали даже в котловане, куда ссыпался пепел с костями.

Наказания же были суровые. Время от времени по ночам к нам приходил грузовик с необычными трупами: хорошо одетые, без блокадной отечности или, наоборот, худобы, и у каждого – запекшаяся дырочка в голове. Их привозили в крытых грузовиках, и каждую машину наш директор Павел Иванович принимал под расписку.

В.И. Гутман. Силы были нужны не только на работу. Еще и на горе. Столько бед свалилось на каждого! Родные умирали – один, другой... Но самое страшное – стали умирать дети. В том числе и в нашем фабричном детском садике, где я работала воспитательницей. Нет-нет, умирали они не в самом садике, а у матерей, когда те забирали их к себе, считая, что ребенку будет лучше дома. Они его забирали, а за детским пайком являлись к нам, в садик. Но разве можно было в тех домашних условиях позаботиться о малыше так, как в саду?! Здесь ведь и врач, и режим...

А однажды произошла совсем дикая сцена. Выхожу в коридор – и вижу: одна мамаша стоит с обедом для своего ребенка, который ей только что выдали, и – и... в общем, она этот обед ест. Быстро-быстро. Я ей кричу:

– "Что вы делаете?! Опомнитесь! А ваш ребенок?!"

А она мне с вызовом в ответ:

"– Если я буду жить, то будет жить и мой ребенок. Если же умру – что тогда? Тогда он останется сиротой! Погибнет!" – И ушла, хлопнула дверью.

Голод, лишения так ломали психику людей, сводили с ума. ...А тот ребеночек, он ведь умер вскоре.

Г.С. Пищулина. Моя сестренка Валентина была на три годочка младше меня. Когда началась война, ей было четыре годика. Она умерла от дистрофии. А оба братика были совсем маленькие: Евгению – два годика, Юрий – и вовсе грудной. Если б у мамы было молоко в груди, она б и их, и Валентину даже, конечно, выкормила. Но откуда было взяться молоку? Мама заворачивала в марлечку кусочек хлеба и давала мальчикам сосать как соску.

А зачастую не было и этого кусочка. Сколько раз: мама уйдет в булочную, через полдня вернется и – ничего. Не дали, нечего было давать.

Когда мама уходила, я оставалась за старшую. А мне самой было всего семь лет! Что я понимала?!. Спят себе дети и спят. Младший раз хны-

кал, я взяла его на рукн, стала укачивать. Он вскоре затих. Ну, я сижу, держу его, боюсь спустить с рук – как бы опять не расплакался. А мама пришла и забрала его у меня. Глянула и говорнт:

"– Что же ты его качаешь? Он, Галя, уж умер".

А после и Евгений, другой братик, тоже умер.

...Почему я сестренку и братиков называю полными именами, ведь так не зовут маленьких? Не знаю... Наверно, потому что не успела привыкнуть их вообще как-то называть.

В.Ф. Самученок. Мама попросила, чтоб я переложила ее с кровати на пол. Я сделала, как она хотела. Потом она говорнт:

"– Посидн со мной".

Я села. Через некоторое время снова проснт:

– "Дай попить".

Поднялась я, отошла к комоду за чашкой, вернулась, а мама уже мертвая. Бабушке кричу:

– Бабушка! Всё!"

А та сама давно слегла, не вставала. Но тут кое-как поднялась, и мы вдвоем затащили маму обратно на кровать.

Неподалеку жила бабушкина подруга, ее дочь – ей было лет тридцать – мне помогала. Мы завернулн маму в одеяло, положили на санки и повезли в Невскую лавру – это совсем рядышком с нашим домом. Вскоре умерла и бабушка. И мы с той женщиной похоронили ее так же, как маму.

Вот ведь: даже не помню, как звали эту дочку бабушкиной подруги! После войны, когда вернулась из эвакуацнн, заходнла к ним, но там жили уже другие люди, и соседи новые, незнакомые. А та женщина ведь меня спасла! Как мама и бабушка умерли, она взяла меня к себе. Летом сорок второго отвела в детский приемнпк на Шестую Советскую. Вошли мы с ней во двор, а там посредине клумба и дети щиплют травку, едят. Уже все было давно выщипано, но они все равно ползали и что-то находилн. Из этого детприемника и увезли меня на Большую землю.

Вот в чем хочу прнзнаться: когда мама, а потом и бабушка умерли, я не плакала, но когда прнвели в детпрнемник и я осталась уже совершенно одна – тогда заплакала. Да так сильно, что помню до сих пор. Почему же я не плакала, когда мама-то умерла, когда бабушка?!.

Б.П. Печенкин. В конце декабря сорок первого нес я домой буханочку и еще довесок – иа шестерых. Шестеро иас было в квартире: мать с отцом, дед, мамина сестра с сыном Вовкой да я.

Подошел я к своему парадному и, как все мальчишки, повернувшнсь спиной к двери, – бац! – в нее ногой. Вдруг, откуда ни возьмись, протягивается черный рукав. Какой-то мужчина хватает мой довесочек с буханкой и деру. Я растерялся: все это в однн миг! Но рядом была тетя Вера, наш дворник. Она как припустит за ним. Догнала, повалила, отобрала мой хлеб и давай этого мужчнну хлестать по щекам. Все это молча, потому что чего говорнть, и так все ясно. Отхлестала, а он и встать не может, совсем обессилел от голода. Тогда тетя Вера подняла его, прислонила

к стене. Он постоял и потом потащился куда-то еле-еле.

В.М. Хренова. Прежде матери часто приходили к нам в детский сад, чтобы проведать сына, дочку. Садик фабричный и иаходился недалеко от проходной. Но чем дальше та первая блокадная зима, тем реже появлялись матери. Еле притащатся и сразу – сесть. Чуть живы уже. Как-то пришла мама к Нине Кибус, у которой я в группе была воспитательницей. Посмотрела на дочку и иачала валиться со стула вбок, вбок... Нина закричала, я тут же подскочила. Голодный обморок. Вынесли ей кружку кипятка с-под макарон (все же посытней), вроде пришла в себя.

И больше мама к Нине уже ие приходила. Девочка плакала:

"– Мамочка моя... Где моя мамочка?"

Мы уж ее утешали, как могли.

"– Мама на окопах", – говорю.

Или:

"– Мама сажает картошку".

А она:

– Нет, сейчас картошку ие сажают. Сейчас снег.

Уговариваем из последних сил:

– Оиа недалеко, за Ленинград уехала – там теперь тепло.

Все равно не вернла.

– Нет, – говорила, – сейчас везде холодно. – Ребеиок чувствовал, ведь родная же мать...

Был у меня в группе Юрочка Курьянов. Он все время плакал, просился к маме. Мы уже давно ее не видели. И вот вечером, когда все дети были уложеиы спать, мы с инм оделись и отправилнсь. Он сам вел меня. Сперва по тропинке вдоль Обводного каиала, потом по заледеневшей лестнице – куда-то на самый верхний этаж.

Наконец добрались. Большая коммунальная квартира, и их комната тоже большая, загроможденная мебелью. У кровати "буржуйка", на полу у дверцы разорванные книги. Видимо, книги шли на растопку, а топили уже мебелью.

Юрина мама лежит на кровати, укрытая одеялом и светлой дубленой шубой. Волосы у нее были очень красивые – длиные, распущенные на подушке. А под головой косыночка сбилась.

Юра сразу кинулся к матери, прижался к ней. А я глянула на погасший огонь и вижу: нет у нее даже сил, чтоб хоть растопить печку. Разожгла ей. А чем еще помочь? Нечем. Да она и сама понимала все. Только одно попросила:

– Юрика не оставьте.

А он, по-моему, так и ие понял, что мама его... уже все в общем.

И с Верой Проньковой ходили мы к ней домой. У нее лежал там отец. Как он горевал:

– Милые мои! Дорогие! Не хочу умирать!

И я вам скажу: самое страшное – это даже не то, что видишь, как умирают у тебя на глазах люди, молодые, здоровые, а то, что стоишь рядом и помочь ничем не можешь.

...Дни идут, а у нас в детском саду все больше сирот. В начале сорок второго поступил приказ: сдавать детей-снрот в детский дом. Своих детей – отдавать! Это ж были уже наши родные, родные дети. У них ведь, кроме нас, воспитательниц, нянечек, никого!..

Намоем каждого, соберем вещички и ведем целой группочкой. Детдом находился недалеко, на Воронежской улице. По дороге они еще крепятся, молчат, а т а м, как иачнут раздевать и чужой доктор осматривает, – так плачут, так плачут!..

Б.П. Печенкин. На Анисимовку, к маме, я ходил в первую блокадную зиму почти каждый день. Фабрику законсервировали еще осенью, но

многие работницы там оставались – поддерживали порядок на территории, боролись с "зажигалками" во время бомбежек, охраняли цеха от диверсантов... И мама, как председатель фабкома, конечно, пропадала на работе целыми днями.

Обычно я отправлялся ближе к полудню. Так сказать, с докладом, как дела дома. А кроме того, шел на случай, если удастся хоть немножко подкормиться в фабричной столовой.

От дома нашего, сулицы Тюшина, до фабрики – всего два квартала да еще перейти по мосту через Обводный канал. Путь короткий, но страшный. Однажды на моих глазах шальной снаряд разорвал у афишной тумбы женщину с девочкой. Другой раз произошло нечто уже совершенно нечеловеческое: на Воронежской мужчина завалил на баррикаду уже одеревенелый женский труп и принялся рубить его тесаком. Тут подъехала черная машина, какие собирали покойников, оттуда выскочили людн в черном, в касках, схватили того мужчнну и увезли. А около баррикады еще несколько дней оставалось большое пятно крови, пока его не занесло снегом.

Первое время при виде таких вещей делалось жутко. Все немело внутри. Ужас был в душе, волосы вставали под шапкой. Но потом, когда начался самый голод, чувства притупились. Помнится, как по дороге на фабрику недели две лежал поперек тропинки труп мужчины. И я каждый день перешагивал через него и плелся дальше. Это не бесчувственность, зто была единственно возможная реакция на все, что творилось вокруг. Иначе можно было сойти с ума.

Ф.П. Павлов. Перед войной мы жили в доме тридцать по Верейской улице, квартира номер один. Но нам в первую же военную зиму пришлось перебраться выше, потому что в нашу квартиру попал снаряд. Хорошо, не было нас в тот момент дома. Правда, в ту, верхнюю, квартиру потом тоже угодил снаряд, но, к счастью, не наделал особых бед.

Вообще, снаряды, бомбы сыпались, будто град. Одна бомба – не поверите! – упала мне прямо на горбину. Я как раз перебегал по двору, а она мне как саданет! Слава Богу, на мие еще была отцовская куртка из "чертовой" кожи, толстая. Как это получилось? А ребята скинули ту "зажигалку" с крыши, ну я и подвернулся. "Зажигалки" – они небольшие, огня от них много, а вес не ахти.

В нашем доме весь чердак был засыпан песком, что деревянное – промазано невоспламеняющейся краской. Как налет – мы на крышу. Женщины, мальчишки... Только "зажигалки" упали – сразу щипцами или рукавицей ее да на песок. И сверху тут же – асбестовой полусферой. Были такие полусферы – сами из асбеста, а на макушке металлический крючок. А не то хватаешь "зажигалку" прямо варежкой за стабилизатор и в бочку с водой. Но когда много насыплет, разрешали сбрасывать и во двор, на асфальт.

В этом деле самое важное – быстрота. Бомба горит всего минуты две-три. Хвать и готово! Сколько я всего погасил "зажигалок"? Не считал. Сколько-то десятков наверняка.

Во всяком случае на медаль хватило. В самом конце сорок второго года группу пацанов вызвали в домоуправление, и представитель вручал нам в Красном уголке медали "За оборону Ленинграда".

Е.В. Осипова. Слушайте, а какая смешная была у меня первая любовь! Ему сорок два, мне шестнадцать. Он – ровесник отца, а я – соплюха. И вот он зовет меня к себе в гости и угощает свежими – это зимой, в блокаду! – щами, потом шоколадом. Кошмар! Я прямо обалдела. Директор нашего крематория жил – как сыр в масле.

Влюбленность у меня была книжная и к богатствам Павла Ивановича не имела ровно никакого отношения. Я его любила возвышенно, чисто платонически. Когда он появлялся – огромный, с небольшим животиком, в гимнастерке без погон, как но- сили тогда все гражданские, туго перепоясанный офицерским ремнем, – у меня прямо дух захватывало. Однажды я нашла летом земляничку и принесла ему – Павлу Ивановичу.

Конечно, он был далеко не ангел: у него были женщины, и такие продукты в голодуху, и все такое, но у меня язык не шевельнется сказать о нашем директоре дурное. И теперь хожу к нему на могилку, земля ему пухом. Потому что тогда многие женщины делили с ним постель, а я пришла поделиться земляничной ягодкой – и он понял меня, чистоту моего чувства. Ничем не обидел, не унизил. Даже в тот вечер! В гостях у Павла Иваиовича... я ведь тогда засиделась у него допоздна, домой было уже нельзя, комендантский час, и он, накормив меня свежими щами, шоколадом (а может, для того и звал, чтоб накормить?), уложил в свою постель, сам лег рядом, но даже не прикоснулся ко мне.

МАРТИРОЛОГ

Часть вторая

Еще 28 июня 1941 г. Военный Совет Северного фронта, позже преобразованного в Ленинградский, принял постановление об эвакуации населения и материальных ценностей. В нем перечислялись следующие категории граждан, в том числе ленинградцев, которым надлежало выехать в глубокий тыл прежде всего: "квалифицированные рабочие, инженеры и служащие... население, в первую очередь, молодежь, годная для военной службы, ответственные и партийные работники". И ни слова о стариках, больных, детях...

Впрочем, ребят все же эвакуировали. Но вывозили их не в глубокий тыл, а главным образом на запад, навстречу молниеносно продвигающимся армадам вермахта, в Ленинградскую и Новгородскую области. К 5 июля 1941 г. туда перебросили уже примерно 162 тысячи детей и подростков. Везли детскими яслями и садами, школами и детдомами. Лишь когда танки противника, оставив Псков, на полном ходу приближались к границам Ленинградской области, началась спешная резвакуация. Обратно выезжали нередко уже под бомбежками и обстрелами. До сих пор никто не знает, сколько девчонок и мальчишек погибли в той мясорубке, остались на всю жизнь калеками, сколько оказались на оккупированной территории и сгинули.

По-настоящему массовая эвакуация гражданского населения Ленинграда началась уже во время блокады: с осени 1941-го до конца лета 1942-го из блокадного кольца удалось вывезти около миллиона человек и среди них тысячи детей и подростков. В каждом едва теплилась жизнь, люди погибали в пути, на

противоположном берегу Ладоги и даже спустя месяцы уже на Большой земле...

Рассказ Л.Я. Степановой:

И вот никого не осталось: умерли папа, Миша, мама. Одна. Что теперь делать?

Собрала я кое-какие вещички: платьишко, рубашечку, туфельки, уложила все в рюкзачок и отправилась в тот же райисполком, куда только на днях сдавала мамин и папин паспорта, Мишину метрику. Это ж рядом почти, на Невском, за углом – у Аничкова моста. Вошла, поднялась по парадной лестнице. На площадке за столиком сидит дежурная. Я к ней.

– Ты, девочка, не волнуйся, – говорит. – Мы тебя сейчас устроим в детский приемник. Там у нас уже много ребят. Одна не останешься.

И действительно, скоро появилась другая женщина и повела меня по Невскому, по набережной Мойки – в детприемник.

Я даже на запомнила адрес. Буквально дней через десять, а не то и раньше, нас вывели строем и стали рассаживать в грузовике, крытом брезентом. Рассадили лицом назад, и мы увидели наших воспитательниц, нянечек, уборщиц, которые стояли на улице и махали нам на прощанье руками. Впервые за весь тот блокадный год я вдруг увидела улыбки!

Впрочем, в блокаду обычно и не плакали тоже. Единственно, когда человек сидит на снегу совершенно без сил, у него текут слезы – немые! а лицо будто маска, без всякого выражения. Я сама, когда умерли все родные, не помню, чтобы плакала. Только одно все время крутилось в голове: что со мной будет дальше? как я теперь одна? как все сложится? на кого мне теперь надеяться, а на себя-то я разве могу положиться, ведь я еще никак не испытала себя в жизни? Я в тот момент ие осознавала, что пережитое в последние месяцы – величайшее испытание. Еще до войны, с самого раннего детства, у меня возникала мысль: что из меня выйдет в жизни? Вероятно, это из-за брата, он часто одергивал меня по всякому пустяку: это не так делаешь, это ие так, и я все думала, почему я такая неумеха, такая несмышлеиая, почему брат знает, а я нет. До меня не доходило, что он просто старше и все это приходит с возрастом, а не дается от рожденя.

И вот с такими мыслями, страхами перед будущим уезжала я с Мойки в эвакуацию, в иеизвестность.

Везли нас через Ладогу по ледовой Дороге жизни. На самом деле она была дорогой смерти. Сколько людей погибло в пути! Задний борт открыт, и нам все было видно: вслед идет вереница таких же грузовиков, автобусов, а по бокам – полыньи, в них плавают доски. Ведь стояла уже середина марта. И вдруг под нами лед захрустел, захрустел, ио шофер резко прибавил газ, мы проскочили, а следующий за нами грузовик, тоже с детьми и двумя воспитательницами, осел и – на дно... Лед таял вовсю.

А потом был другой берег, полная тарелка пшенной каши с настоящим маслом, ночь в жарко иатопленном бараке и на следующий день – поезд.

Нашему детприемнику – а нас было человек тридцать – отвели целый вагон. Там были сделаны нары в несколько этажей, мы чувствовали себя вольготно, но в пути подсаживали еще детей и еще, всякий раз приходилось тесниться, и в конце концов по отдельной полке каждому уже не выходило, жались по двое. Я была одной из немногих, кто весь путь – длиной почти в месяц – пролежал на персональном ложе. Объяснялось мое привилегированное положение просто – едва нас погрузили в вагон, у меня поднялась температура, начался кашель. Потом уже, когда приехали на место, выяснилось – воспаление легких. А пока я ехала и терпела. Все проходило в полузабытьи. И только вспышками запомнились отдельные эпизоды.

В Тихвине сильно бомбили. Кто мог, сразу кинулись подальше от поезда. А мне было даже с полки не слезть. Лежу и чувствую всем телом, как дрожит вагон, и рельсы дрожат под ним, и внутри у меня все дрожит – вот сейчас со свистом бомбы все оборвется!

Наш вагон уцелел, а несколько последних сгорели дотла. Когда фашист улетел, я чуточку осмелела – глянула в щель между досками: в соседнем вагоне стена закоптилась до черноты, а тот, что за ним, догорает, остался один остов.

Много ребят побило, очень громко плакали, кричали раненые. Мы уже отвыкли в Ленинграде от громких голосов, и потому здесь они казались особенно жуткими.

Уцелевших ребят из разбитых вагонов рассадили по соседним, в том числе и к нам, хотя казалось, больше уже некуда.

В Ленинграде каждый из нас пережил столько обстрелов, бомбежек – на них уже почти не обращали внимания. А тут вдруг сделалось так страшно – не передать. Возможно, потому, что мы вырвались на Большую землю, и теперь нам казалось, что все опасности позади?..

Воды не было почти всю дорогу: остановка или в чистом поле, или на станции, где водокачка разбомблена. Да и будь вода на остановках, много ль могли мы запасти одним чайником на целый вагон! Так что, едва станем, старшие ребята по команде сопровождавших нас взрослых срывались на поиски питья. Днем ли, ночью, – все равно. Зачастую черпали из обычных луж. И вот как-то ночью остановились – рядом канава. Натаскали из этой канавы, сколько сумели, все напились. А поезд стоит, стоит. Наконец, рассвело, и видим: в той канаве плавают мертвецы. Что вы думаете, мы испугались? Ничуть не бывало!

...Выезжали в марте, а добрались до места лишь в начале мая. Это был Усть-Лабинск Краснодарского края. Станичницы встречали с полными ведрами молока, пирожками с фасолью... Причитали:

– Угощайтесь, деточки! Кушайте пирожки! Пейте молочко! Сколько влезет, пейте! Малеиькие, натерпелись столько!

Угощали наперебой. А было-то уже темно, приехали мы к вечеру. И пахло вокруг так!.. Знаете, как пахнет на юге весной, когда все цветет.

Долго не могли воспитательницы оттащить наших ребят от местных. Пока все – а наш детдом на колесах насчитывал уже человек двести–двести пятьдесят – не наелись до отвала. Только тогда наших построили и повели куда-то в темноту. А за мной приехала санитарная машина и увезла в больницу.

Провалялась чуть не до самого июля. Потом выписали, и пошла я в детский дом. Дорога не близкая – через поля, а солнце печет. Короче, шла-шла, устала, присела на камешек и... Очнулась снова в больнице. Пока

брела – мне много не надо было, слабая после блокады, болезни, – получила тепловой удар. Спустя неделю за мной приехали из детдома уже на подводе.

Усть-лабинские относились к нам прекрасно. Видно, им объяснили, что такое ленинградская блокада и сколько мы перенесли. Впрочем, это и по нам было отлично видно. Даже когда наши мальчишки лазали по садам – за абрикосами, черешней, вишней, сливами, которые мы не то что в блокаду, но и до войны-то в большинстве своем не видывали, – даже тогда местные, хоть и грозились поймать и надрать уши, никогда не выполняли своих угроз.

Нам казалось, мы живем в раю. Но рай наш был так недолог! Началось летнее, сорок второго года, наступление немцев на юге. Снова – эвакуация. Сказали: надо идти через Майкоп на перевал, к Черному морю.

Кто это все придумал и решил на весь детдом выделить только три подводы – не могу сказать. Но решение было абсурдное: ну-ка, попробуйте столько детей разместить на трех подводах! Вот и пришлось: вещички ехали, ехали малыши, а все остальные – пешочком. А за спиной фашист! Спасибо опять-таки местным жителям: в какую бы станицу ни зашли, всюду выносили нам фрукты целыми ведрами:

– Кушайте, деточки дорогие!

Мы уже вышли за Гиагинскую – это чуть больше полпути до Майкопа, – как вдруг показался над дорогой самолет. Мы сразу поняли: немецкий. Потому что нам еще в Гиагинской говорили: гоните скорей, немец совсем близко! Воспитательницы, едва завидев самолет, кричат:

– Разбегайтесь! Быстро! Прячьтесь в кукурузу!

А кукуруза в том месте, будто назло, – редкая, как в нее спрячешься? Налетел и давай поливать!.. Когда наверху затихло, смотрим: пятеро наших ребят убиты. Пришлось тут же их похоронить. Зачем-то, словно для такого именно случая, лежали у нас на подводах две лопаты, ими копали могилу. Земля сухая, каменистая, вышла могилка совсем неглубокая...

Только двинулись дальше – навстречу уже мчатся немецкие мотоциклы. Перекрыли нам дорогу и, как выяснили, что мы да кто, откуда и куда, завернули обратно в Гиагинскую. Один мотоциклист сопровождал, чтоб не разбежались.

Притащились мы назад в станицу, стали на площади табором. Немцы между тем согнали станичников и приказали разобрать всех детдомовцев.

Сначала забирали тех, кто постарше, посильней. Потому что раз появились оккупанты, добра не жди: обберут как липок, самим нечем будет кормиться, не говоря уж о нас, нахлебниках, тут каждая дополнительная пара рук в хозяйстве будет на вес золота. Это, наверно, походило на невольничий рынок в древности: местные к нам приглядываются, уводят за руку одного, другого, шум, галдеж...

И тут... Впервые за всю войну, да что там – впервые в жизни столкнулась я с самой низкой подлостью. Пока мы, затаив дыхание, следили, кого из наших берут, воспитательницы – а это были уже не ленинградки,

какне-то из краснодарских – короче, все три воспитательницы подсобрали наше барахлишко, лежавшее на подводах, и давай Бог ноги, обратно в свою станицу.

Я сперва и не заметила. Мне кто-то из ребят кричит:

– Лидка-а! Чего рот раскрыла! Вон твой мешок шелудят!

Оборачиваюсь, а мой мешок уже валяется полупустой. Бельишко, платьице, туфельки – ничего уже нет. Только вдали за подводами пыль столбом. Вот так. Хорошо хоть сохранились теплое одеяло, пальтишко, все ж таки осень на носу.

Стою, прижав к себе, что осталось. Разобрали уже почти всех, а я не нужна никому. Худенькая, слабенькая, никак не могла оправиться после блокады, еще дистрофия. В конце концов одна женщина взяла меня за руку и повела за собой.

Она была неразговорчивая, суровая. Жили вдвоем с сыном: большой парень, рослый, лет шестнадцати. Жили они, как и все, бедненько в небольшой мазанке и еще сарайчик на дворе. В мазанке у одной стены лежанка, у другой – лавка. На лежанке спала хозяйка, на лавке – сын ее. А мне отвели место в сенях, постелили там прямо на полу.

Хозяйка поручила пасти корову. Боялась я эту корову до дрожи. Городская, я коров видела только на картинках, как управляться с ними, не имела понятия. Правда, хозяйка мне помогала немного: выгонит корову на лужок, даст в руки хворостинку и говорит:

– Ты только следи, чтоб она не ушла никуда.

А корова, проклятая, так и норовит забрести подальше, да непременно в кукурузу. Я не то что ударить – боялась даже подойти близко к той корове. Я ей кричала издали:

– Не ходи туда! Не ходи, кому велено!

Корова, словно чуяла, что я чужая, что я боюсь ее. А уж в доме я подавно была чужой. Сперва ели хозяйка с сыном, потом кормили меня. Я старалась в мазанку и не соваться, только на ночь, а так – или в поле, с коровой, или с подружками Лилей, Тоней, они тоже были ленинградками.

В один октябрьский день того года хозяйка мне заявляет:

– Там собирают ваших детдомовских. Иди к школе.

Закинула я свои пожитки за плечо и отправилась. Далеко не все ребята пришли, кое-кого станичники, несмотря на приказ немцев, не отпустили. Собралось нас у школы человек пятьдесят. Немцы показали: будете жить здесь, в школе, одни.

И вот мы превратились... даже не знаю, с чем это сравнить. В робинзонов? Нет, не то. Вокруг были люди – станичники, немцы, но они нас как бы не замечали, одни из ненависти, другие из страха, потому что общаться с нами было категорически запрещено. Вокруг было полно людей, а мы будто на необитаемом острове. Снова стали настоящими блокадниками. Снова в кольце. И с первого же дня опять, как в блокаду: есть, есть, есть! – и это сделалось главным.

Среди нас были мальчишки лет двенадцати-тринадцати, самые старшие. Они старались добыть, что удастся. Уходили на день-два, бродяжили, просили подаяние. Приносили нам хлеб – но не пшеничный и не ржаной, а кукурузный, яйца и, главным образом, – семечки. Если доставалась пригоршня-другая лущеной кукурузы, разводили на школьном дворе костерок, брали железку – у нас была какая-то плоская железяка, чуть не лопата без черенка – и жарили на ней эту кукурузу. Потом кто-то из наших ребят напал недалеко от Гиагинской на колхозный

склад, где было припасено много кукурузных початков. И тут уж мы плотно сели на кукурузную диету.

Как мы жили? Христарадничали, воровали. Ели руками – посуды ведь никакой не было. По ночам тряслись от холода. К примеру, мое зимнее пальтецо, которое чудом уцелело, когда нас ограбили наши воспитательницы, по ночам отправлялось на чужих плечах за продуктами, а я сидела, завернувшись в одеяло, и ждала. За пальто мне полагалась добавка от добычи, которую приволокут мальчишки.

Да, закон был "кто смел, тот и съел". Но в то же время была взаимовыручка, помощь слабому. Старшие девочки ухаживали за малышами, продукты, которые удавалось доставать, делились на всех, независимо от возраста, хотя, конечно, далеко не поровну. Мы не переставали сознавать себя л е н и н г р а д ц а м и .

Неделя за неделей мы сидели, верней, лежали – на одних семечках и кукурузе, ослабли настолько, что едва притаскивали с протекавшей рядышком речки воды, чтобы хоть немного умыться.

Спустя месяц, а может, и больше, мальчишки, вернувшись из очередной вылазки за продуктами, объявляют:

– Что-то затевают немцы вокруг нас. Не смыться ли, пока не поздно? С чего они взяли, что нам угрожает опасность, и в чем она заключается? В памяти засело только то ощущение тревоги, неизвестности.

Собрали мы совет, стали решать, что делать. Некоторые мальчишки кричат: надо, мол, смываться, не то фашисты нас тут всех укокошат! Но старшие девочки настаивали, чтобы остаться: куда нам бежать, когда знакомых никого, местность чужая, лесов кругом нет, одни степи да поля? Где укроешься? Тем более холод уже наступил. А с малышами что делать? Иным по три-пять лет, ослабшие, они и километра не осилят, а на руках их тоже не унесешь. В итоге сошлись все же на том, чтоб сидеть и ждать: будь что будет.

И все потекло по-старому: походы мальчишек за кукурузой, яйцами, семечками, дележка добычи, лежание на полу, разговоры о том о сем, а больше ни о чем. Только вдобавок ожидание чего-то страшного.

М.А. Санаев. Еще в середине лета сорок первого года мне предложили эвакуироваться из Ленинграда вместе со школой. Но мама – ни в какую. Я у нее оставался один в жизни: братишка давно, совсем маленьким умер от перитонита, а отец...

В тридцать втором отец окончил Ленинградскую Военно-медицинскую академию и получил назначение в Москву – начальником санупрaвления Первой Пролетарской дивизии. Мама как раз готовилась родить братишку, поэтому сама осталась в Ленинграде, а меня послала с отцом.

Мы жили с папой в большой московской коммуналке. Общество в ней было разнокалиберное, а время такое, что все тянулись к политике: как соберутся на кухне, так пошли разговоры про индустриализацию, троцкистов, НЭП... Ну, и один партнец в знак протеста против перегибов в создании колхозов запечатал

свой партбилет в конвертик и послал в Кремль. Тогда это было в порядке вещей: выходили из партии в случае несогласия с ее политикой, потом опять входили... Ответ пришел быстро – в длинных шинелях и с примкнутыми штыками. Забрали соседа на Лубянку и допрашивали:

– Ты один так думаешь насчет коллективизации или еще кто?

А тридцатые только начинались, опыта пока у людей не было. Сосед, чтоб убедить всех в своей правоте, возьми да брякни:

– Какое один! У нас, в квартире, к примеру, все мужики так считают!

Ну, и всю квартиру потащили туда же. Отца, как военного, под трибунал, а потом – на строительство Беломорканала. На канале он был расконвоированным, я жил при нем. Стройка огромная, нужны там были и медики, вот отец и лечил. Две лошади ему дали, одну для вестового, бывшего махновца.

На Беломорканале отец оказался, можно сказать, по собственному желанию. Следователем по его делу назначили – такое уж совпадение – бывшего отцовского товарища по рабфаку. Один после рабфака пошел по медицинской части, другой – в органы. Теперь они нежданно-негаданно встретились, и следователь сказал напрямую:

– От срока спасти тебя не могу, но куда послать – зависит от меня. Так что выбирай.

Отец ему:

– На север куда-нибудь. – Потому что папа еще во время учебы в академии занимался пеллагрой и тут рассчитывал продолжить свою научную работу.

После завершения строительства канала нас с отцом перебросили на станцию "Оленья", там возводился никелевый комбинат. Меня удалось пристроить на квартире самого начлага. По вечерам начальник лагеря вызывал отца из зоны, якобы для осмотра и лечения членов своей семьи, и мы виделись. Но вскоре подступил тридцать седьмой год, и начальник лагеря сказал отцу:

– Мишу твоего надо отсылать обратно в Ленинград. Иначе оба мы с тобой будем гореть синим пламенем.

Больше я отца никогда не видел. Его посмертно реабилитировали в пятьдесят девятом году.

Но еще ровно за двадцать лет до этого, перед войной, маму вызвали на Литейный в Большой дом, посоветовали:

– Зря вы пишете на имя товарища Сталина. Муж ваш лишен права переписки, и ждать вам его не надо. Вы еще молодая, постарайтесь устроить свою судьбу заново.

Вот так. Не знаю, что мама им ответила, только замуж она больше не вышла. Да и не пыталась выйти.

...В общем, сами понимаете, у матери были основания не отпускать меня в середине первого военного лета ни в какую эвакуацию. Этим она, вероятно, меня спасла. Всю нашу школу вывезли куда-то под Тихвин, навстречу немцам, в самую мясорубку, и вернуться удалось из сорока пяти ребят нашего класса всего-то десятку, не больше.

Эвакуировался я гораздо позже. Перед самым началом блокады мама решилась: отправила меня с интернатом табачной фабрики имени Клары Цеткин, на которой работал ее отец, то есть мой дед.

Ребята были почти все моими старыми друзьями. Ведь мы неоднократно ездили вместе в пионерлагерь. Так что было весело. И даже то, что из-под Ярославля пришлось почти сразу драпать дальше, потому что немцы принялись бомбить Рыбинское водохранилище, тоже нис-

колько не испугало. Сели на пароходик – допотопная такая посудина, вроде "Севрюги" из "Волги-Волги", колеса по воде шлеп-шлеп, еле-еле душа в теле, саженками и то, наверно, быстрей, – погрузились, в общем, на это суденышко и поплыли в Пермь.

Плыли себе, плыли... На Каме, неподалеку от Набережных Челнов, встретила нас зима, и мы намертво вмерзли в лед.

В.М. Хренова. Вот мы и приехали, всем детским садом. На душе тошно, да ведь нельзя показывать этого перед ребятишками. Наоборот, надо было их приободрить.

Старшие замкнулись в себе, все переживали внутри, а маленькие, те наперебой спрашивали:

– Мама к нам приедет? А когда мы поедем обратно к маме?

Мы, воспитательницы, уж старались их отвлечь – сказками, рассказами, песнями. Но ничего не получалось. Да и то сказать, сами-то воспитательницы были детьми, считай, еще вчера, ведь многим из нас и двадцати еще не сравнялось.

Только заведешь что-нибудь там... ну, например: "Так-так-так – говорит пулеметчик, так-так-так – говорит пулемет", – и сразу это как бы повисает в воздухе. Потому что у всех на уме совсем другое: близкие, родные там, в Ленинграде, который все дальше.

Едем, а сами молим Бога: хоть бы пошел дождик! Небо серое, тяжелое. Только б дождик – в дождь не бомбят, погода нелетная. Подъехали к месту назначения и вправду – закапало, полило! Но только выгрузились – прилетел-таки проклятый!

В городе, там по сигналу воздушной тревоги, как автомат, действуешь: детей в охапку и вниз, в щель, а здесь я от неожиданности растерялась.

– Ребята! – кричу. – Под вагоны! Прячьтесь под вагоны! – Как затмение на меня нашло.

Тут, спасибо, подскочил откуда-то военный да как заорет:

– Ты что?! С ума сошла?! А ну, живо марш из-под вагонов!

Я сразу отбежала и подаю новую команду:

– Ребятки! Ко мне! Скорей! Скорей! – И они все выбежали, прижались ко мне, обхватили со всех сторон. А этот немец на бреющем туда-сюда, так и рвет душу. Наконец, показался и наш истребитель, пошел в небе настоящий бой.

Военный отер пот с лица и говорит:

– Вот для вас палатка готова.

Мы тут же побежали, впихнулись в нее. А ребята еще кричали:

– Какая палатка-то красивая!

Она была зеленая с желтыми пятнами, под цвет кустарника и стоявших неподалеку березок.

Б.П. Печенкин. Блокада теперь была далеко позади, но маме моей было уже от нее не оправиться.

В начале сорок третьего мама, а с ней одновременно и тетушка попали в больницу. Мне сказали:

– Борис, у твоих тиф.

И сразу отделили меня от всего интерната, чтоб не было эпидемии. Временно пришлось переехать в тот угол, который мама с тетушкой снимали в деревне.

Уж не знаю, что там был за врач – а возможно, его и не было, какой-

нибудь фельдшер исполнял его должность, все врачи были на фронте, – только у тетушки на самом деле оказалась сильная ангина, а мама... просто умирала. У нее был, по всей видимости (как я теперь понимаю), инфаркт.

Мама умерла в феврале сорок второго года. Хоронили ее всем интернатом. И так же всем интернатом – дети, взрослые – поддерживали меня в те дни. Все были очень по-особенному добры, каждый стремился проявить заботу. Но чуть раньше я уже успел ощутить и понять свое сиротство, всю меру своего одиночества.

Это произошло как раз в те дни, когда мама с тетушкой лежали в больнице. С утра до вечера я был предоставлен самому себе. Обидно было: придешь к интернату, а тебе там через щелочку, как попрошайке, сунут миску с едой и тут же – хлоп! – дверь на запор. А морозы стояли страшные! Бредешь по холодрыге этой и глотаешь слезы. Я ведь был совсем еще мальчонка, что мне карантин, что мне опасность эпидемии? Для меня мое одиночество было самой жуткой бедой на свете.

В.М. Хренова. Вечерами я лежала в своей комнатенке, которую снимала в деревне, и плакала. Я так скучала – по Ленинграду, по всему довоенному!..

А под окном была как раз завалинка. Девчонки деревенские соберутся, хохочут про что-то свое, поют... Деревня стояла полупустая. Из мужиков только хромоногий Ваня-гармонист, остальные на фронте. И вот Ваня играет, а девчонки орут частушки.

Они хотели, чтоб я вышла к ним, вызывали меня. А я не выходила. Лежишь себе и думаешь, думаешь... Просто голова разламывается. Ну, казалось бы, чего надо? Тихо, спокойно, безопасно. А все плохо, потому что тоска. Думалось: где-то люди идут в бой, сражаются, там настоящая жизнь, а тут... как в болоте. Мы, несколько воспитательниц нашего детского сада, ездили в райцентр, просили военкомат, чтоб отправил нас на фронт. Отказали.

Только через несколько месяцев после приезда в эту деревню поняла я, что не такое уж тут болото, и что сдержанность, с какой встречали нас многие здешние женщины, не от враждебности, а оттого, что самим жилось ох как худо.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В январе 1944 года, после снятия блокады, Ленинград напоминал вымерший город. Из 3 миллионов 15 тысяч, зарегистрированных предвоенной переписью населения, осталось менее миллиона. Около миллиона погибли от голода, бомбежек и обстрелов, остальные находились в эвакуации или на фронте.

К 1945 году в городе работали лишь менее половины магазинов, подавляющее большинство предприятий, законсервированных еще в начале войны, бездействовало, примерно в два раза упало количество учащихся в школах...

Ленинград остро нуждался в рабочих руках. Надо было заново отстраивать разрушенные здания, пускать фабрики и заводы. Еще продолжавшаяся война, казалось, исчерпала до дна огромные людские ресурсы страны: несколько десятков миллионов человек погибли, свыше десяти миллионов служили в армии, все, кто мог трудиться, выпускали продукцию для нужд фронта. И тогда дошла очередь до подростков. Им выпало восстанавливать хозяйство и промышленность Ленинграда.

Рассказ Л.Я. Степановой:

Это случилось в первых числах февраля сорок третьего года. Под утро, еще в темноте, просыпаемся все от торжествующего вопля мальчишек:

– Вставайте! Вставайте! Скорей! Наши!!!

Сразу повскакали, конечно, все до единого, даже те, кто от голодной слабости не поднимался почти:

– Как наши?! Где?

И тут слышим в отдалении: тра-та-та! Стрельба! Проходит всего несколько минут, и на порог вскакивает незнакомый парень в бурке, в кубанке:

– Привет, ребятишки! – орет. – Ну как? Живы-здоровы? – Мы замерзли, боимся пошевельнуться от неожиданности. – Да не бойтесь! – кричит. – Я свой!

Мы как завопим от радости:

– Партизаны! Ура-а-а!

В тот же момент совсем рядом так бабахнуло, что вся наша школа как подпрыгнет.

Партизан хохочет:

– Наши немца во как гонят!

Грохот, стрельба где-то рядом, а мы пустились в пляс. Свобода!

Когда совсем рассвело, в станице уже стояла тишина. Первый, кто пришел к нам утром, был станичный староста. Пришел и привел старушку, маленькую, сухонькую, седенькую.

– Всю жизнь, – говорит, – молите за нее Бога. Она вас спасла!

Мы, само собой, удивились: как такая старенькая бабушка сумела нас всех спасти? Нас спасли партизаны! Тогда староста приказал выйти во двор. По углам нашего школьного здания партизаны что-то аккуратно раскапывали. Оказывается, немцы незаметно заложили под стену с четырех сторон запалы, чтобы при отступлении взорвать школу вместе со всеми, кто в ней есть, но эта старушка в последний момент, рискуя жизнью, перерубила лопатой провод.

Первые дни после освобождения мы были как пьяные от счастья. Все вызывало восторг – что можно ходить куда хочешь, орать песни, кричать... Вот только жить нам приходилось в том же пустом школьном здании, прямо на полу, да и голодно было почти по-прежнему.

Но через считанные дни нас перевели в станицу Келермесскую. Она не пострадала от оккупантов так сильно, как Гиагинская, и там удалось наскоро переоборудовать станичную школу в детдом – с настоящими спальнями, в которых стояли кровати с матрасами, подушками, одеялами.

Однако самое главное было даже не это. Нам прислали директора, и мы влюбились в него все поголовно в первый же миг! Он был высокий, статный, сразу видно, что из кадровых командиров, потому что выправка военная. Уже немолод, седина в волосах, в движениях легкий, все с улыбкой да с шуткой. Он не строгостью брал, она ему была не нужна, хватало обаяния. Только вот имя-отчество подкачало: длинное, громоздкое, не сразу выговоришь – Василий Варфоломеевич. Но мы даже не стали сокращать его до "Варфоломеича", тут же окрестили дядей Васей.

В первый день дядя Вася вышел к нам представляться с такой речью:

– Я – ваш директор. И мы теперь будем вместе жить и работать. Ну и, конечно, самое основное – будем помогать Красной Армии прогнать врага с Советской земли! Что для этого надо? Прежде всего – не сидеть на шее у народа, то есть организовать свое хозяйство и питаться за собственный счет.

Стояла весна и в пяти километрах от Келермесской нам дали отдельное детдомовское поле. Даже предоставили лошадей на распашку, потому что земля там лежала будто кремень, по-моему никогда и не рожавшая ничего, кроме бурьяна. Распахивали поле мальчишки, а уж сеять кукурузу вышли мы все как один. Как на праздник: пять километров с песнями! Пели, что помнили: про революцию, про войну. Самые младшие почти ничего не помнили из довоенных лет и не знали этих песен, выучивали прямо на ходу. А впереди нашей колонны шагал и орал с ними песни наш директор.

Мы были готовы за нашего дядю Васю в огонь и в воду, по первому зову. Возможно, для некоторых девочек это была уже не детская, а первая девичья любовь? Боюсь точно сказать. Но во всяком случае в отношениях с мальчишками подчас чувствовалось что-то большее, чем просто дружба.

В нашей спальне помещалось около тридцати девочек, одна кровать впритык к другой. Лежали долгими вечерами без сна, и разговор всегда один: про Ленинград! Рассказывали, кто на какой улице жил, в какой магазин бегал за конфетами, где стоял киоск, в котором после школы покупали снтро... Старались вспомнить мельчайшие подробности довоенного Ленинграда, и какая-нибудь деталь вдруг оказывалась хорошо знакомой всем. Про блокаду – почти ничего, говорили только про то, как жили до войны. Мы, конечно, мечтали попасть обратно в родной город и как можно скорей, но непременно в тот, еще довоенный Ленинград.

И мечта была настолько сильной, что доходило прямо-таки до психоза: придумывали самые невероятные, жуткие испытания, которые будто бы надо выдержать, если по-настоящему хочешь в Ленинград. Вдруг кто-нибудь скажет:

– Лидка, а вот пошла бы сейчас одна до нашей бахчи, чтобы завтра же очутиться дома?

И все сразу кричали наперебой вместе со мной:

– Да! Да! Я! Я!

Это ночью, за пять километров, где волков водилось тьма-тьмущая! Они вечерами-то увязывались за нами, когда мы возвращались в станицу с поля все вместе, а тут одной, в темноте!

Поэтому, когда в сорок пятом пронесся слух, что будут отправлять в Ленинград, наш детский дом превратился в растревоженный муравейник. Кто поедет, кто останется? Гаданням не было конца. Потом выяснилось: едут лишь те, кому исполнилось пятнадцать, потому что городу требуются рабочие руки, надо восстанавливать дома, заводы, фабрики.

Мне исполнилось пятнадцать в марте, а уезжали мы в июне. Как раз незадолго до этого нас, пятнадцатилетних, приняли в комсомол, вручили билеты – настоящие, отпечатанные в типографии, с печатью райкома, но без фотокарточек, во всей округе не нашлось ни фотографа, ни пленки. И это был наш единственный документ, кроме бумажки, в которой значилось, что мы направляемся на восстановление ленинградской промышленности.

Слез при расставании, само собой, пролили море. И не только те,

кто оставался, но и те, кто уезжал. Мы успели сродниться, стали одной семьей, тем более что никакой другой семьи почти у всех нас не было.

...Долго еще мучила меня во сне война: снилось все вперемешку – блокада, детдом, оккупация... А после неудачного какого-нибудь дня снились обычно мама с папой, Миша...

Ф.П. Павлов. В один из первых же налетов на Ленинград в сентябре сорок первого меня ранило: контузия и перелом бедра. Голова пришла в норму быстро, а вот нога... Лежал в детской больнице имени Раухфуса, она уже почти вся была занята под военный госпиталь. После выписки мама делала мне для ноги ванны, ходил еле-еле, на костылях, а потом еще долго – с одним костылем.

Уже к лету сорок второго я с этим костылем гонял в футбол. Там и сломал его, выкинул. На углу Рузовской и Обводного канала до войны стояли какие-то склады, в первую блокадную зиму они сгорели, вот на этом месте мы и стали гонять мяч. Да не просто мотались от ворот до ворот. Играли по-настоящему, дом на дом. И мяч у нас был настоящий, правда латаный-перелатаный.

Во всяком случае летом сорок четвертого, вскоре после того, как сняли блокаду, мы против пленных немцев выступали достойно. Где сейчас ТЮЗ, там до войны находился ипподром, после блокады от него оставались конюшни (в них поселили пленных), трибуны, поле. Там и играли с немцами.

Охрана не возражала, все-таки ей какое-никакое развлечение. Иногда судил кто-нибудь из наших ребят, иногда кто-то из немцев. И всегда судейство шло довольно честно. Наши старались не уронить, так сказать, честь победителей, а они... они вообще-то хорошо к нам относились. Бывало, предложат:

– Принесн алюминиевую ложку, сделаю тебе из нее пару колец, для тебя и твоей фрейлен.

Стащишь у матери, и точно – кольца, не отличишь от серебряных... Ну, а как иначе, скажите, они могли к нам относнться? Положение у них было постыдное, дальше некуда: столько готовились, потом напали, жгли огнем направо и налево, и в итоге же сотнями тысяч сидят в плену.

А вот как мы к ним? Конечно, пережито всякого – жутко вспомнить. Но и забыть-то никак нельзя, потому что вот оно еще все, у тебя перед глазами. Иногда ведет он мяч, а ты ему как бы подкат, но вместо того норовишь в пылу по ногам: "Ну, гад, я тебе счас!.." Но это все секундное, а так... Они ведь теперь стали пленными. А в детстве-то, помните, как кричали: "Чур, лежачего не бить!"

М.М. Васильева. Мне было четырнадцать лет и три месяца. Ну кто возьмет меня на работу такую маленькую? Правда, тут еще одно: я хотела непременно ткачихой. Тетя советовала идти в медицину. Но я сказала: ни за что! Столько крови навидалась в войну – только не в медицину. А именно в ткачихи, потому что у меня подружки были с ткацкой фабрики имени Желябова. Они повели меня к себе на предприятие, к своей преподавательнице из

школы ФЗО. Та только глянула на меня:

– Да вы что! – говорит. – Ей же не достать до станка. – Это точно – после военной голодухи росточком я была не ахти.

Что ж, стала я ездить по другим ткацким предприятиям. Все объехала, нигде не берут. Говорят: мала. Еще бы, ведь я не то что до станка, до окошечка отдела кадров дотягивалась едва-едва. Последняя надежда была на фабрику имени Анисимова. И здесь мне повезло – взяли в школу ФЗО.

Набрали нас целую группу малолеток, и преподаватель повел в цех – знакомиться с будущей специальностью. Как звали по имени-отчеству того учителя, не помню, только одно – мы его про себя называли "Граф": за внешность, видно, дали ему девчонки такое прозвище – высокий, немолодой уже, представительный.

В общем, привел нас Граф на второй этаж и поворачивает в цех. Все – за ним, а я да еще одна девчонка, мы – ни в какую. Это ведь прядильный цех! А мы поступали в ткачихи! Ведите нас в ткацкий, на прядильный не желаем даже глядеть!

Граф нам как малым детям:

– Да вы посмотрите, девочки, какая прядильная машинка-то красивая!

А чего в ней красивого? После блокады как раз только-только начинали расконсервировать фабрику, едва успели пустить первую машину, остальные еще стояли, как мертвецы, – полуразобранные, ржавые. К тому же в цехе холодно, не хватало тепла, которое так необходимо для работы текстильного производства, поэтому цех перегородили одеялами поперек – от стены до стены. Потом, когда пускали очередную машину, эти одеяла перевешивали. ...Ну чего тут во всем этом было красивого?

А Граф уже новое средство придумал:

– Давайте так! Вы как бегуночки обе, а я буду за веретено. Бегайте вокруг меня! Ну! – И вот он перебирает наши руки, кружит нас вокруг себя, чтобы получилось похоже на принцип действия прядильной машины, а на самом деле, чтоб развеселить этих двух дурех.

Так и затащил в цех. С легкой руки нашего учителя проработала я здесь, на втором этаже в прядильном цехе, сорок с лишним лет!

З.Ф. Щелкунова. Центральную лестницу нашей фабрики, которая ведет наверх в фабуправление, ремонтировали пленные немцы. Они еще были в военной форме, но уже, конечно, без погон, без знаков различия. Голодные, худые. А мы, девчонки, их жалели. Угощали своим пайком – иногда отломишь ему кусочек, иногда и целиком отдашь. Мы, наверное, делились бы с ними и другими продуктами, да у нас ничего, кроме хлеба, больше не было, сами жили впроголодь, по карточкам. А жалость была самая искренняя.

М.М. Васильева. Все питались по карточкам, а нам, фэзэошницам, не давали карточек. Их направляли прямо в фабричную столовую, и мы там кормились утром, днем и вечером.

Когда мне первый раз дали на завтрак триста граммов хлеба, я сперва даже не поверила, что это мне одной. А потом подумала: зачем все сразу? лучше б оставили часть на обед и на ужин. Но выяснилось, что дневная норма – семьсот грамм! Это казалось несметным богатством.

На фабрике работало немало женщин, у которых дома оставались

дети. Голодные дети! Обязательно утром подойдет кто-нибудь из работниц:

– Ты не будешь продавать в обед свой хлебушек?

Администрация и ругала этих женщин, и стыдила их, но мать есть мать... Все равно к концу обеда у выхода из столовки выстраивалась в ожидании фэзэошниц целая очередь.

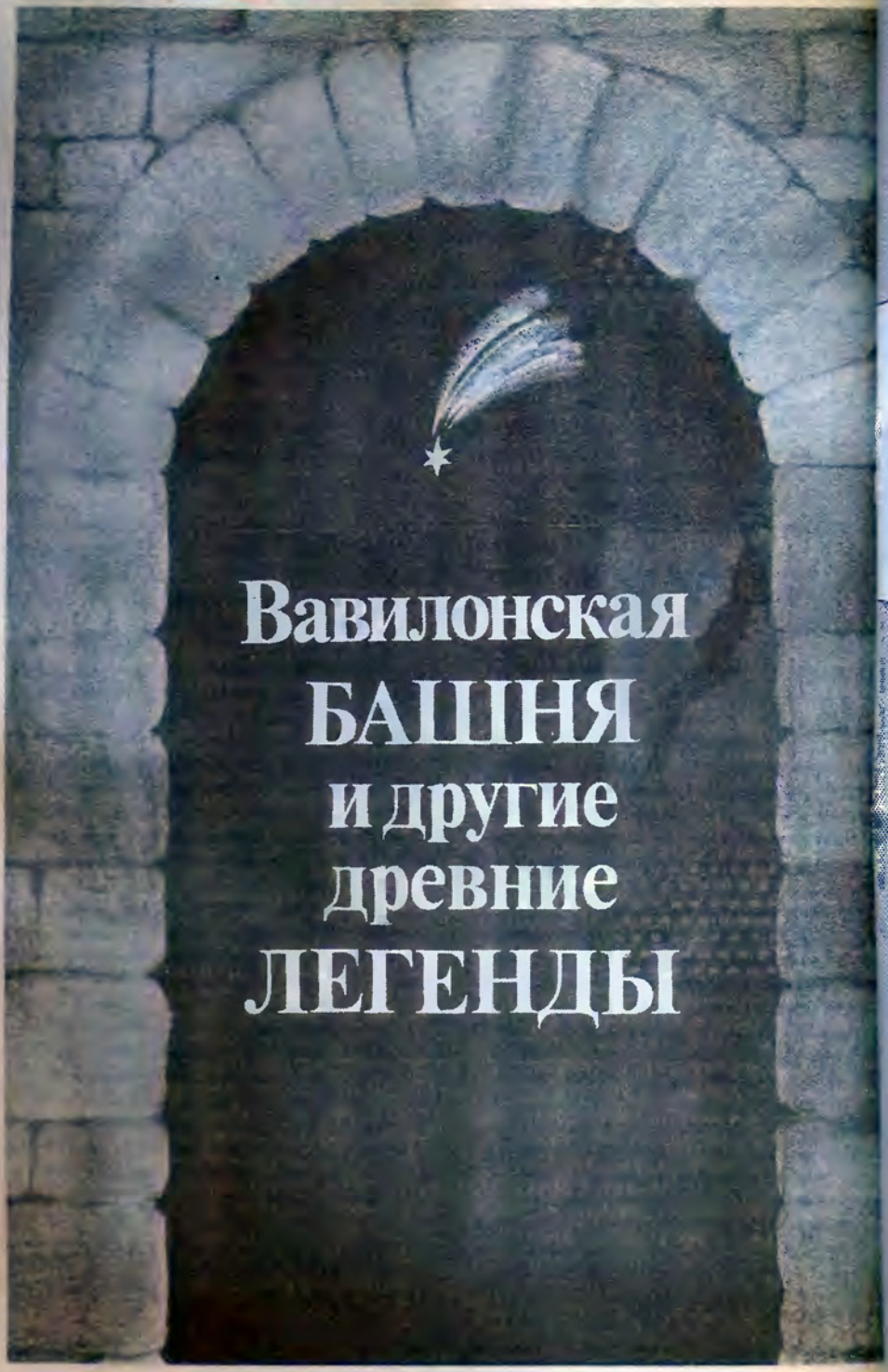
И мы продавали свой хлеб. Обеденный паек стоил рубль. На этот рубль мы потом обычно бегали в кино. Сеанс нам обходился в десять копеек. Для учащихся ФЗО – по особой, самой низкой цене. Сидишь в темном зале, в животе урчит от голода, но зато перед тобой экран, а там шикарная жизнь – "Девушка моей мечты" или что-нибудь такое...

В.Ф. Самученок. Жили мы при фабрике в общежитии. Как раз где теперь контора нашего цеха, был огромный зал метров на тридцать, а то и больше. И умещалось нас там ровно тридцать девчонок. Посредине – шкаф, а вокруг, одна к другой – койки.

Но все вместе мы не собирались никогда, потому что в текстильном пронзводстве работа трехсменная, круглосуточная, и кто-то всегда в цехе. В школе ФЗО учились всего год, а жили в такой тесноте долго. Тесно, да весело. Еще и танцы устраивали: сдвинем кровати, настроим их в два яруса, позовем парней – пыль столбом!

Придешь, бывало, со смены – кругом шум-гам, а ты лежишь и спишь, как убитая. В шестьдесят шестом, после двадцатилетия Победы, дал мне город наконец отдельную комнату, как пережившей в детстве блокаду. Теперь тишина, а не уснуть...

Фото Г. КОНОВАЛОВА


Вавилонская
БАШНЯ
и другие
древние
ЛЕГЕНДЫ

МОГУЧИЙ САМСОН

Иллюстрации Гюстава ДОРЕ

1. «САМСОН ИДЕТ!»

Давным-давно,
в стародавние годы,
жил на земле Ханаанской
человек по имени Маной.
Солнце в этом краю светило
круглый год. Хлеба родилось вдо-
воль. Виноград был сочный и слад-

кий, и его тоже хватало на всех. На зеленых склонах гор паслись коровы и овцы, в долинах журчали прозрачные и прохладные ручьи. Люди жили, трудились и не знали горя.

И вдруг словно ураган налетел! Хищный и жестокий царь соседнего государства напал на страну со своим войском. Хлеб пожег, виноградники вытоптал, скотину угнал всю – и волов, и овец, и верблюдов. А потом стал со своими вельможами править разоренным народом.

Завоеватели вместе с женами и детьми поселились в стране и жителей этой страны заставили на себя работать.

Стоном стонет народ. Плачет Маной, плачет его жена: были вольные люди – стали рабы!

Пошла раз жена Маноя к колодцу воды набрать. Смотрит, там какой-то человек стоит. Подошла, а это странник.

Странник попросил у нее напиться. Жена Маноя опустила кувшин в колодец, набрала воды и протянула страннику:

– Пей, добрый человек!

Слово за слово, они разговорились.

Странник стал расспрашивать жену Маноя, хорошо ли живется людям в этих краях.

– Да уж какое тут житье! – говорит жена Маноя. – Работаем от зари до зари, а есть нам все равно нечего. Чужие начальники берут все себе, нас за людей не считают. И пожаловаться некому! А нам с Маноем совсем плохо: старость подходит, а помощника нет. Нет у нас детей, добрый человек!

Странник ей вдруг говорит:

– Хочешь, чтобы у вас сын родился?

– Как не хотеть!

– А сделаешь по-моему?

– Все сделаю, добрый человек, – говорит жена Маноя. – Как велишь, так и сделаю.

– Хорошо, – говорит странник. – Тогда слушай: родится у вас сын. Будет он сильнее всех на свете. И когда вырастет, избавит ваш край от врагов. Только помни одно: нельзя ему стричь волосы. И ему скажи, когда подрастет: что хочешь делай, а волос не стриги.

– Ладно, – говорит Маноева жена. – Запомню твои слова.

И только хотела она позвать странника в дом, чтобы он поел и отдохнул перед дорогой, как смотрит: нет его. Только пыль вьется на том месте, где он стоял.

Ровно через год в семье Маноя родился мальчик. Назвали его Самсон. Мать ни разу с самого рождения его не стригла – помнила уговор! А когда Самсон вырос, она сказала ему:

– Еще до того, как ты родился на свет, приходил к нам странник. Человек он, видно, был не простой. Сказал, что будет у нас сын. И еще велел, чтобы сыну своему мы волос не стригли. Я ему пообещала, что так и будет.

– Ну что ж, – сказал Самсон, – раз дали такое слово, надо будет держать его и мне.

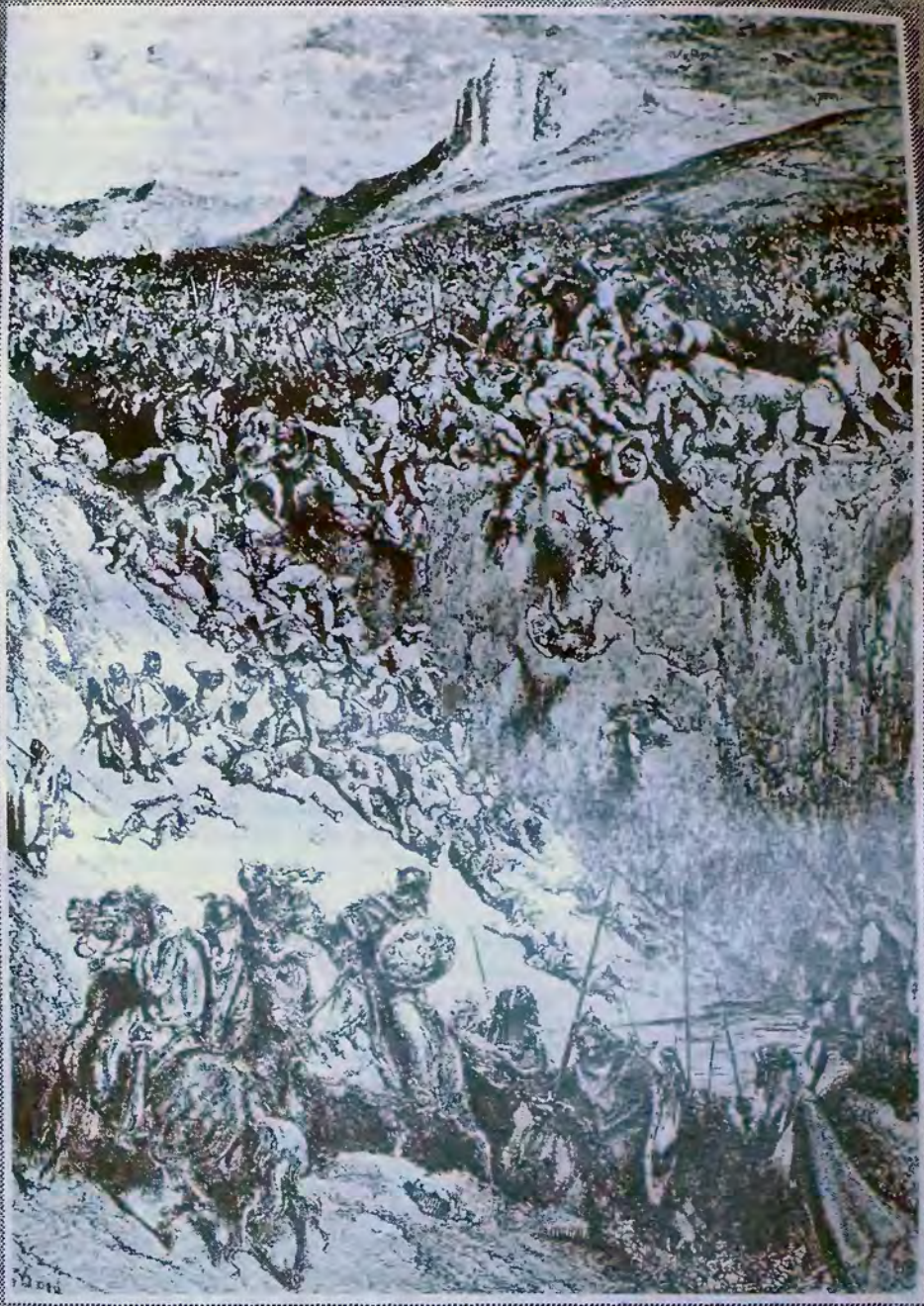
Когда он шел по улице, мальчишки узнавали его еще издали по длинным волосам и кричали:

– Самсон идет! Самсон! Самсон!

2. САМСОН И ОСЛИНАЯ ЧЕЛЮСТЬ

И не было на свете человека сильнее Самсона. Однажды в деревню, где жил Самсон, пришли чужеземные воины. Как разбойники,

Пересказала Т. ЛИТВИНОВА



вбежали они во двор к соседу и собрались уводить у него последнюю корову.

Самсон увидел воинов, прошел во двор и всех их раскидал. Один в реку угодил, другой повис на суку, третий в канаве лежит ни жив ни мертв, а четвертый побежал в город – начальству жаловаться.

Воины стали после того обходить эту деревню стороной. А царские вельможи задумались.

Слава о необыкновенной силе и храбрости Самсона росла с каждым днем.

– Этак нам несдобровать, – решили вельможи. – Надо поскорее Самсона изловить и расправиться с ним!

Но как к нему подступиться? Ведь он сильнее всех!

Думали, думали и, наконец, придумали.

По всем городам и селам разослали гонцов и объявили: если через три дня Самсона, связанного по рукам и ногам, не приведут во двор к царскому наместнику, то воины у всех жителей сожгут дома.

Услышал Самсон и сказал:

– Что же, всем страдать из-за одного человека? Ладно уж, вяжите меня!

И тогда взяли две новые, крепкие веревки, связали ими Самсона по рукам и ногам и поволокли к наместнику. А сами плачут – так им жаль Самсона.

Стража вывела Самсона на площадь. На площади уже собралась толпа чужеземцев полюбоваться на связанного Самсона. Думали – тут ему и конец!

А Самсон только вздохнул поглубже, расправил плечи – и разорванные веревки упали к его ногам. Самсон налево посмотрел, направо – нет ниоткуда спасения. Опустил голову. Смотрит: у самых ног его какая-то кость валяется. Подобрал, а это ослиная челюсть. Самсон давай ею от врагов отбиваться. Взмахнул раз – пятьсот человек, где стояли, там и легли. Махнул другой – еще пятьсот человек уложил.

– Хо-хо! – закричал Самсон. – Хо-хо-хо-хо! Целую толпу врагов одолел я ослиной челюстью!

И по всей стране прокатилось как эхо:

"Хо-хо!.. Хо-хо-хо-хо!"

Это народ радовался тому, что чужеземцы не одолели Самсона, что Самсон жив.

3. САМСОН И ЛЕВ

Однажды весною мать говорит Самсону:

– Сходил бы ты в Фимну. Может, там мука есть. Наша вся вышла, а до нового урожая далеко.

Пошел Самсон в соседнее село Фимну. Купил муки, взвалил мешок на спину и домой собрался. Вдруг видит: на самом краю деревни стоит у колодца девушка неописуемой красоты. И так она Самсону понравилась, что он решил на ней жениться во что бы то ни стало. Расспросил людей и узнал, что имя красавицы – Далила.

Приходит домой и говорит:

– Просватайте мне Далилу. Она в том селе живет, в Фимне.

Отец с матерью замахали на него руками.

– Что ты, что ты! – кричат. – Или у нас своих девушек мало, что ты на чужой жениться задумал? Разве ты не знаешь, что Далила из того племени, от которого твоему народу житья нет?

Но Самсон и слушать не хочет. Заладил одно: "Жените меня на Далиле", – и все тут.

Делать нечего. Пошли все трое в Фимну, с невестой знакомиться. Идут по тропинке между виноградниками. В небе – ни облачка, птицы поют. Хорошо! Отец с матерью еле поспевают за Самсоном. Ноги старые, не слушаются. А он летит как на крыльях, земли под собою не чует. Скоро-скоро увидит он свою Далилу!

Вдруг из виноградника показалась большая косматая голова. Потом открылась огромная красная пасть и раздался такой страшный рев, что все птицы, какие были в поле, вспорхнули и улетели за горы.

Это был лев – самый страшный зверь на свете.

А у Самсона при себе ни лука со стрелами, ни ножа охотничьего – ничего. И кругом – ни души. Родители совсем отстали, бредут себе потихоньку и знать ничего не знают.

Лев вышел из кустов и пошел прямо на Самсона. Остановился, глядит на него в упор, когтями землю царапает. Потом низко-низко пригнулся к земле – и прыгнул!

А Самсон ему навстречу. Подхватил на руки, тут же в воздухе разорвал надвое и отбросил в кусты.

Голыми руками льва растерзал!

Подходят отец с матерью. А Самсон стоит, лицо рукавом вытирает.

– Ну и жара, – говорит.

А о том, что было, – ни слова!

Вот пришли они все трое в Фимну. Далила сказала, что согласна за Самсона замуж пойти и назначила день свадьбы.

На обратном пути Самсон вдруг говорит отцу с матерью:

– Идите вперед, я вас догоню.

А сам пошел на то место, где он со львом повстречался. Смотрит – лев, где лежал в кустах, там и лежит. Только – что за чудо! Наклонился, а в мертвом льве пчелы поселились – целый рой. И меду полно! Подивился Самсон, потом выгреб мед и дальше пошел. Идет себе по дороге, мед посасывает.

Догнал родителей и говорит:

– Вот вам гостинец, – кушайте на здоровье!

А откуда мед, не сказал.

4. СВАДЕБНЫЙ ПИР

Пришло время свадьбу играть. Созвали гостей и по обычаю той страны целых семь дней пировали в доме невесты.

Гости были все чужеземцы – из невестиной родни. Уселись за стол, пьют, едят, песни поют, а сами на Самсона косятся: чужой!

А Самсону хоть бы что! Разговаривает с гостями, шутит, смеется.

– Хотите, – говорит, – я вам загадку загадаю?

– Загадай, – говорят гости.

– Только, чур, уговор: если не угадаете мою загадку, каждый пусть мне свою самую нарядную рубаху отдаст, угадаете – я каждому по рубахе подарю.

– Ладно, – отвечают гости, – говори свою загадку.

А загадка Самсона была такая:

"В едоке – еда, в силе – сладость".

День думают гости, другой – ничего придумать не могут. Что за еда такая в едоке? Откуда в силе – сладость?

На третий день говорят невесте:

– Так и так, выручай. А то что же это выходит: позвала в гости, а потом рубаху долой?

– Что же вы меня спрашиваете? – отвечает им Далила. – Не я ведь загадку загадывала.

– А ты у Самсона выпытай. Он тебе жених.

Стала Далила у Самсона отгадку спрашивать, а он ей говорит:

– Ни отцу родному я этого не рассказывал, ни матери. И тебе до времени не скажу.

На другой день обступили гости Далилу, спрашивают:

– Ну?

А Далила говорит:

– Не сказал.

Тогда они стали корить Далилу.

– Видно, жених тебе дороже своего народа, – говорят.

Далила опять к Самсону: "Скажи да скажи!"

А Самсон только смеется.

Далила – гостям:

– Не говорит Самсон отгадки. После свадьбы, говорит, скажу.

Рассердились гости, загудели:

– Что выдумал – после свадьбы!

– Что же нам, со свадьбы голыми, без рубашек, домой идти?

И говорят Далиле:

– Раз ты нас не жалеешь, то и тебе пощады не будет: спалим твой дом, и тебя вместе с домом, и жениха твоего, и отца с матерью – всех сожжем!

Осталось до конца свадьбы три дня. Далила от Самсона ни на шаг не отходит, не дает ему покоя ни минуты.

В последний день свадьбы Самсон наконец не выдержал слез и попреков Далилы и все ей рассказал: как он, когда шел к ней, льва убил и как на обратном пути нашел в убитом звере мед.

– Потому, – говорит, – я и загадку такую загадал: в силе – сладость, а в едоке – еда.

Далила тут же все своим дружкам перешепнула.

Вот пир подходит к концу, солнце уже садится. Вдруг один из гостей выходит из-за стола, кланяется Самсону и говорит с усмешкой:

– Знай же, Самсон, что нет на свете зверя сильнее льва!

А за ним другой.

– Знай же, Самсон, – говорит он, – что нет на свете еды слаще меда.

Третий говорит:

– Лев – едок. Он всех ест.

– А мед все едят, – говорит четвертый. – Это еда.

А пятый гость говорит:

– Вот и получается, что в едоке – еда, а в силе – сладость.

Понял Самсон, откуда они такие умные.

– Знайте же, люди, – крикнул он, – что нет на свете никого болтливее женщины!

Бросил каждому гостю по рубахе и пошел прочь. Даже не простился с Далилой.

5. САМСОН И ГОРОДСКИЕ ВОРОТА

Пошел Самсон с горя куда глаза глядят. Идет день, идет другой, на третий к вечеру видит: впереди гора до самого неба, а под горою что-то белеет. Подошел ближе, а это каменная стена. В стене – ворота на каменных столбах. Самсон в эти ворота вошел и очутился в большом городе.

Было уже совсем темно. Самсон постучался в первую попавшуюся дверь. Вышел хозяин со светильником в руке.

– Пусти меня ночевать, – попросил Самсон.

Хозяин узнал Самсона и говорит:

– Заходи.

А сам побежал сказать кому надо, что Самсон у него.

Город, в который попал Самсон,

назывался Газа. Здесь как раз жили вельможи чужеземного царя. Они давно уже мечтали, как бы изловить Самсона, и очень обрадовались. "Теперь уж он от нас не уйдет, – говорили они друг другу. – Натерпелись мы от него страху. Хватит!"

Самсон как лег, так и уснул. А враги его не спят! Послали стражников, велели им заложить ворота на железную перекладину, а на перекладину замок навесить. Самим же – затаиться в кустах, и как только Самсон придет к воротам, наброситься на него, повалить и связать по рукам и ногам. Ворота на запоре – куда Самсон денется?

Так и сделали. Стражники ворота заперли и сели ждать невдалеке за деревьями.

Самсон встал засветло. Он хотел дойти до своего села, пока солнце не начнет припекать. Подходит к воротам города, а там замок висит. Что делать?

Самсон ухватился обеими руками за столбы, ногами в землю уперся, поднатужился – и вырвал ворота из земли – со столбами, замком и перекладиной!

Стражники опомниться не успели, а Самсон уже в гору идет, ворота на спине тащит. Так и дошел он до самой вершины горы, ни разу не останавливаясь. Потом встал, скинул ворота, перевел дух и вбил их столбами в землю.

Так они там, наверное, и до сей поры стоят!

6. САМСОН И ДАЛИЛА

Приходит Самсон домой. Родители рады.

– Ну вот, наконец ты и пришел, – говорит мать. – Где ты пропадал? Вот у людей уже хлеб сжали, а у нас колосья осыпаются.

Самсон пошел в поле, поработал три дня, управился и говорит отцу с матерью:

– А теперь я пойду за Далилой.

Он забыл, что сердит на нее, а только помнил, какая она красивая и ласковая.

Взял козленка трехмесячного, чтобы подарить ей, и пошел.

Приходит в Фимну, к дому, где жила Далила. Хочет к ней пройти, а в дверях стоит отец Далилы, вход загораживает.

– Здравствуй, – говорит он Самсону. – А мы думали, ты нас больше и знать не хочешь. Вот и невесту твою просватали.

– Как вы посмели просватать Далилу? – закричал Самсон. – За кого?

– За твоего приятеля. За того, который первый тогда твою загадку разгадал, – помнишь? Да ты не горюй: разве у меня только и дочерей, что Далила? Ее младшая сестра еще красивей. Хочешь, бери ее себе в жены.

Но Самсон уже не слушал. Вбежал к Далиле, подхватил ее на руки и выбежал вместе с нею из дому. Козленок еле поспевал за ним!

Вот стали они вместе жить, Самсон и Далила, в долине реки Сорек. Самсон очень Далилу любил. А она все никак не могла забыть, что он чужой, из чужого племени.

Однажды, когда Самсона не было дома, приходят к Далиле те самые гости, которые пировали у нее на свадьбе.

– Так и так, – говорят. – Выручила один раз, выручай и в другой.

– Как же мне вас выручить?

– А вот как: нам велено узнать, в чем великая сила Самсона и нет ли какого способа его одолеть. Вот ты и выведай у Самсона. Помоги нам, Далила, – ведь мы не чужие.

Выведаешь, мы тебе принесем по тысяче сребреников каждый.

– Ладно, – говорит Далила. – Сделаю по-вашему, узнаю у Самсона, в чем его сила великая, и вам скажу.

Приходит Самсон домой. Далила в слезах.

– Ты чего плачешь? – спрашивает ее Самсон.

– Как же мне не плакать? – отвечает Далила. – Ты говоришь, что любишь меня, а сам мне ничего не рассказываешь.

– А что тебе надо знать?

– Да вот все говорят, что нет на свете человека сильнее Самсона. А я, твоя жена, не знаю даже, в чем твоя сила велнкая. Неужели и вправду тебя одолеть нельзя?

Самсон засмеялся.

– Так вот у тебя какое горе? Слушай: если возьмешь семь жнл воловьих, из которых делают тетиву для лука, и хорошенько свяжешь меня ими, то всей моей силе – конец. Буду, как все людн. Что хочешь со мной тогда делай!

На другой день Далила побежала к Самсоновым врагам и все, что он ей говорил, нм пересказала. Они пришли к ней, прннесли с собой семь жил воловьих и притаились у нее в углу.

Вечером, когда Самсон пришел домой, Далила собрала на стол, сели ужинать. Потом Самсон встал нз-за стола и говорит:

– Что-то я сегодня устал.

Лег и уснул.

А Далила скорее воловьи жилы хватает, Самсона всего ими опутывает. Проверила узлы, крепко ли завязано, а потом как крнкнет:

– Самсон! Проснись! Враги!

Самсон вскочил. Что такое? Кругом обрывки воловьих жил валяются. Улыбнулся, смахнул их с постели и снова спать залег.

Так и ушли его враги ни с чем.

Наутро Самсон просыпается: Далила опять в слезах!

– Ты что? – спрашивает Самсон.

– А то, что ты правды мне сказать не хочешь. Ты только смеешься иадо мною. Ведь для тебя эти семь жил воловьих – все равно что нитки.

– Ладно, – сказал Самсон, – так и быть, скажу, как меня одолеть можно. Вот у тебя ткацкий стан стоит у стены. Если расчесать мои волосы на семь кос да каждую косу впрясть в пряжу, то придет моей силе конец, и тогда со мною всякий сладит.

Снова поверила Далила Самсону. Снова прячет врагов его у себя в спальне.

Вот прншел Самсон домой, сел за стол, поужинал. Далила ему и говорит:

– Давай, я тебе волосы расчешу!

Самсон положил ей голову на колени и уснул. А Далила расчесала его волосы на семь кос, вплела каждую косу в пряжу, тихонько, чтобы не разбудить Самсона, придвинула ткацкий стан и начала прядку эту гвоздиками к стану прибивать. Постучит: тук-тук! – и смотрит, не проснулся ли Самсон. Он все спит, тогда она дальше: тук-тук, тук-тук!

И прибила волосы к ткацкому стану.

Потом как закричит:

– Самсон! Проснись! Враги!

Проснулся Самсон, поднял голову, и семь кос его выскользнули из пряжи, как семь змей. А он повернулся на другой бок и снова уснул.

Видит Далила: обманывает ее Самсон, не доверяет ей.

– Так-то ты меня любишь! – говорит она ему наутро. – Так-то жалеешь! Другие своим женам все го-

ворят без утайки. Один ты ничего мне рассказать не хочешь.

И пошла, и пошла! От зари до зари не дает Самсону покоя. То плачет, то бранится, то надуется, то грозит, что уйдет от него.

Крепился Самсон неделю, крепился другую. Наконец видит: все равно житья ему не будет, не отступится от него Далила, покуда всю правду у него не выпытает.

– Ладно, – говорит он ей, – не плачь. На этот раз скажу тебе всю правду: сила моя – в волосах. Мне их не стригли с самого рождения. А если меня постричь, то я буду, как всякий другой человек. Какой хочешь вяжи меня веревкой – не распутаюсь.

Сказал и пошел в поле работать.

А Далила, только он ушел, быстро посылает за своими дружками и велит им принести с собой ножницы поострее.

Вечером Далила приготовила вкусный ужин и села против Самсона веселая и ласковая. "Ну вот и хорошо, – подумал Самсон. – Теперь будем жить с ней по-прежнему, в мире".

Лег спать и крепко уснул.

Далила тем временем взяла большие ножницы, смазала их маслом, чтобы не скрипели, и раз-раз! – остригла Самсона. А Самсон все спит, да еще во сне улыбается: видно, снится ему что-то очень хорошее.

Тут Далила как крикнет во весь голос:

– Самсон! Самсон! Враги!

Самсон проснулся. Враги выскочили из своего угла и набросились на него. Самсон думал их одной рукой раскидать, да не тут-то было: сила ушла. Провел рукой по голове – волос нет!

Понял тогда Самсон, для чего Далила у него тайну выпытывала. Выходит, она была заодно с лютыми врагами его народа, а его самого нисколько не любила! И так горько стало Самсону, что он даже обыкновенной силы, какая у каждого человека бывает, и той лишился.

На улице уже дожидались. Увидели: ослабел Самсон. Ворвались к нему в комнату, обступили его, заковали в медные цепи и отвели в тюрьму.

А Далиле насыпали полный мешок денег.

7. ГИБЕЛЬ САМСОНА

Самсона отвели в Газу, в тот самый город, из которого он ворота унес. Там запрягли его вместо лошади и заставили крутить мельничный жернов. А чтобы убежать не вздумал, выкололи ему оба глаза.

Ходит Самсон по кругу, ворочает жернов, день-деньской мается... И не знает даже, много ли времени прошло или мало. Слепому ведь что день, что ночь – все равно.

А во дворце тоже счет дням потеряли: уже которую неделю пируют чужеземные правители, празднуют свою победу над Самсоном.

– Давайте призовем сюда Самсона! – сказал кто-то из пирующих.

– Да-да, пусть приведут Самсона, – зашумели все.

– Полюбуемся на знаменитого силача, который грозился выгнать нас из этой земли!

И послали в тюрьму за Самсоном.

Все чужеземцы, какие были в стране, пришли в Газу и столпились у входа во дворец. Всем хотелось взглянуть на пленного Самсона.

Дворец был большой и просторный, но чужеземцев оказалось так много, что все они поместиться во

дворце не могли. И вот, кто не попал внутрь дворца, забрался на крышу. А кому и на крыше не нашлось места, стали вокруг дворца и старались заглянуть в окна. Хоть одним глазком увидеть своего давнего врага!

Жителей страны к дворцу не подпускали. Они стояли поодаль и плакали. Но вот раздался звон цепей, и в толпе закричали:

– Самсон идет! Самсон! Самсон!

Медленно, с трудом передвигая ноги в оковах, шел Самсон и держался за руку мальчика, которого ему дали в поводыри.

Он поднялся по ступенькам дворца. Толпа чужеземцев злорадно насмехалась над ним.

Но гордый Самсон, казалось, не слышал насмешек, словно он не только ослеп, но еще и оглох.

– Подведи меня к столбам, – сказал он тихо мальчику-поводырю, – чтобы я мог к ним прислониться.

Мальчик вывел Самсона на середину дворца и прислонил его к одному из столбов, на которых держалась крыша.

Самсон нащупал другой столб рукою и сказал мальчику:

– Ну вот и хорошо. Теперь ступай на улицу погуляй.

Мальчик вышел, а Самсон стал между двумя столбами и задумался. Припомнились ему тут все обиды, какие причинили ему и его народу чужеземные завоеватели. Вспомнил, как у отца его Маноя угнали волов, как у соседей виноградники вытоптали. Вспомнил, как подговорили жену его, красавицу Далилу, обмануть его и выдать врагам. Вспомнил, как раскаленным железом выжгли ему оба глаза.

А чужеземцы кричат, дразнят Самсона:

– Что же ты на нас не посмотришь, Самсон?

– Что же ты не сбросишь свои цепи, Самсон?

– Загадай нам какую-нибудь загадку, Самсон!

– Где твоя хваленая сила, Самсон?

"Эх, если бы сила моя вернулась ко мне хоть на час, хоть на минуту!.." – подумал Самсон и провел рукой по голове. И вот чудо! Как это он раньше не заметил? Ведь волосы у него уже подрастать стали – уши наполовину закрыты! Значит, и силы прибавилось. Ощупал мускулы – они у него опять стали твердые, как мельничные жернова!

Тогда Самсон уперся левою рукою в один столб, правой – в другой и закричал громким голосом:

– Умри, Самсон, умри вместе с проклятыми врагами!

Собрал всю свою силу и сдвинул столбы с места.

Страшный грохот разнесся по всей стране:
это рухнул огромный дворец в Газе.
И всех, кто внутри был,
всех задавило
до единого.
Погиб и
САМСОН.

Глеб ЗОЛОТАРЕВ, 12 лет.

ПОСЛЕДНЕЕ САФАРИ

РАССКАЗ

Ослепительная вспышка озарила фиолетовое небо с бледными, призрачно-белыми пятнами трех лун. Огненный шар пронесся в воздухе, оставив след бордового дыма. Землю сотряс взрыв, отдавшийся в мрачных скалах гулким эхом горного обвала. Мгновением позже восстановилась тишина, нарушаемая мерным треском загоревшегося леса...

Плита наружного люка бесшумно поднялась вверх, открыв зияющую пустоту звездолета. Человек выпрыгнул с площадки, сплюнул и поморщился от едкого дыма, поднимавшегося в бездонное чернильное небо. На полмили кругом все было выжжено, и стоять у накаленного борта звездолета было невыносимо. Морт отошел шагов на двадцать, погружаясь по щиколотку в еще горячий пепел. Атмосфера была разрежена, и это значительно затрудняло дыхание. К Морту подошел высокий охотник с сигарой в зубах.

– С прибытием, господин начальник, – с усмешкой сказал Кейроб Милис. – Да-а, дичи тут полно. Один зуб какого-то ящера чего стоит.. Фирма нам отвалит кругленькую сумму.

– Ну-ну, размечтался, – неодобрительно оборвал его сладкие мечтания Морт. – Ты так говоришь, будто зверюга уже лежит у твоих ног.

– Скоро будет лежать! Пойду позову ребят, пусть готовят вездеход, – и он зашагал к звездолету, стоявшему в колеблющемся мареве.

Начальник охотничьей группы стряхнул с сапог пепел, перекинул через плечо крупнокалиберную винтовку и двинулся вслед за Милисом.

Багровое солнце поднималось над сумрачными дебрями. Лучи медленно скользили по черным скалам, делая их еще непригляднее. Воздух наполнился запахом гниения.

В кабине вездехода было тихо. Мерно пощелкивали таймеры и датчики. Кроме Морта и Милиса, в кабине сидели еще Даниэл, Эрвас и Кэлвин. Все они были членами охотничьей группы под кодовым названием "Скорпион". Только что открытая безымянная планета сулила охотникам богатый товар для межпланетного рынка. Здесь в изобилии водились ящеры, череп которых мог обеспечить человека средствами на всю жизнь; ценились также панцири различных броненосцев, зубы ящеров, некоторые виды растений.

Небольшая фирма "Кротос", не видящая в обозримом будущем ничего, кроме развала, получила последнюю попытку вернуть свое состояние. Раньше "Кротосу" долго везло: сначала золотые рудники на Марсе, затем удачная экспедиция к Плутону, добыча редкостного кристалла в горах планеты Лиус – системы звезды Альфа. А потом – серия неудач, разо-

ривших фирму. "Кротос" наняла пятерых охотников из соединения "Старз сафари", доплатив также за небольшой звездолет типа "утка". Пребывание на планете ограничивалось, и охотникам приходилось торопиться. Сафари было крайне опасным. Первооткрыватели описывали огромных ящеров, змей в шесть футов толщиной, гигантских крабов и спрутов. Охотники знали, на что идут, но согласились, естественно, не без помощи денег. Добычу предполагалось разделить на две части: три четверти шло фирме, а остальное должны были поделить между собой космонавты. Старт и перелет прошли нормально. О посадке этого нельзя было сказать. Автопилот не рассчитал скорость приземления, произошло загорание обшивки, и лишь с помощью усовершенствованных тушителей звездолет не превратился в груду дымящегося металла.

Машина ехала по холмистой равнине, огибая одно за другим небольшие болотца. Неудобства создавали торчавшие из грунта перомии, относившиеся к плаунам и достигавшие высоты двух метров. Их стройные стволы имели рубцы – следы опавших листьев, крона была увенчана густой лиственной короной, переходящей в шишковидный плод, своим видом напоминавшим ананас. При попытке наехать на дерево вездеход чуть не повредил лобовое стекло, был испорчен прожектор – растение оказалось фантастически твердым.

Вездеход форсировал препятствие и резко остановился. На прибрежном крупно-зернистом песке отчетливо виднелись свежие отпечатки трехпалых ног, ведущие в сторону густых зарослей хвощей. Морт соскочил с вездехода и жестом приказал двигаться за ним. Сапоги людей погружались в почву почти по колено. В воздухе кружила мошкара. Охотники надвинули на лица защитные стекла. Эрвас и Кэлвин вынули из чехлов винтовки. Морт, раздвигая руками колючие папоротники, протиснулся в заросли. Хотя следы ящера были свежие, охотники не нашли даже тропинки. Наконец, хвощи кончились. Перед людьми открылось большое озеро с торчавшими из воды обрубками гигантских папоротников. Многие стволы прогнили, но еще держались на поверхности. Всюду лежали искалеченные стволы карбоновых деревьев. Прибрежье озера было полностью заполнено непроходимыми джунглями высотой в несколько метров. Воздух наполнялся запахом плесени. Между стволов ползали отвратительные белые черви в два фута длиной.

Внезапный хруст веток насторожил охотников. Что-то тяжелое и огромное протискивалось между ветвями. Люди отпрянули от кустов. Пахнуло смрадом. Послышалось глухое клокотанье, и на берег ввалился огромный панцирный динозавр, достигавший в длину более двадцати семи футов. Спина его была круто выпуклой, туловище массивное, ящер передвигался на четырех ногах. Передние конечности были намного короче задних, на спине в два ряда высились крупные костные пластины, защищавшие позвоночник; на конце короткого толстого хвоста, используемого для защиты, имелись две пары острых шипов. Маленькие глазки туповато смотрели на мир, выражая желание поскорей набить брюхо.

Ящер неуклюжей походкой подошел к берегу и, разрезая шеей мутную темно-зеленую воду, погрузился в озеро. Это было первое животное, увиденное людьми на этой планете, но, сменяя радость удачи, пришел ужас от мерзкого вида такого монстра. Ящер с упоением пожирал водоросли и рыбу – точнее сказать, все то, что попадалось ему на пути. Жи-

вотное как будто не замечало охотников, стоящих с ружьями во весь рост, и лишь до пояса прикрытых густой порослью молодых папоротников. Наконец, оно повернулось в сторону людей. Охотники – не новички в своем деле – похолодели от ужаса. Ящер смотрел на них долго и пристально. Провисшая кожа под горлом дернулась, шиповые пластины накренились. Ящер шлепнул хвостом по воде, поднимая в небо тучи брызг. Огромный папоротник затрещал и рухнул.

Мощный рев заставил динозавра оглянуться: из зарослей показался стиракозавр (так позже стали называть ученые этих монстров). Три внушительных рога украшали его голову: один на носу и два других, более крупных – на надбровных выпуклостях. Череп составлял почти треть массивного туловища, увенчанный огромным костяным воротником; нос кончался выступом, сильно напоминавшим клюв птицы.

Глаза ящеров встретились. Стиракозавр низко наклонил голову, выставив вперед свои рога, медленно брел по воде. Динозавр метнулся из озера, оскалив два янтарных клыка. Милис покачнулся:

– Вот это да... Вот это клык!

– Молчи! – шикнул на него Морт. – Будешь много говорить – испробуешь крепость этого зуба.

Громогласный рев оповестил окрестности о начале боя. С первого мгновения перевес оказался на стороне стиракозавра. Пользуясь рогами, он вспорол брюхо противнику. Вода побагровела. Страшным хвостом с гигантскими шипами динозавр вырвал кусок мяса из спины врага. Обезумев от боли, стиракозавр, подскочив, всадил рог под шейный позвонок неприятеля. Затрещали кости. Из горла динозавра хлынула кровь. Охотников окатило липкой жидкостью. Стиракозавр яростно топтал своего врага. Вот уже с хрустом лопнул хребет. Динозавр метался в предсмертной агонии. И вдруг, видимо, последним усилием он нанес удар хвостом в надлобную кость рогатого противника. Стиракозавр пошатнулся и рухнул на ящера, превратив его в груду окровавленного мяса с белеющими раздробленными костями.

Эрвас пошатнулся, Кэлвин тяжело повалился на землю. Морт, видя состояние своих товарищей, мрачно сказал:

– На сегодня хватит.

Вездеход затормозил у начавшегося знакомого леса. Через минуту охотники сидели в кают-компании. Развалившись на диване, Милис предавался воспоминаниям:

– А все-таки... Какие клыки были...

– Ну, пойди и вырви, – огрызнулся Морт. Он был еще в состоянии нервного потрясения. Перед его глазами стояла картина кровавого побоища.

– Зря только день потратили, – проворчал Кэлвин, – стрелять надо было сразу. Сроку-то пять дней осталось. Куда-нибудь подальше заехать надо, а то мы своим приземлением всю дичь распугали.

XXX

Медленно тянулись часы. Милис ворочался.

– Как жарко, – проворчал он, встал и, шлепая ногами по теплому пластику, подошел к двери. Щелкнул выключатель, и в каюту ворвался

прохладный воздух планеты. Стало легче дышать. Милис выглянул в иллюминатор. Лес спал. Тихо покачивались исполинские папоротники. Тысячи колючих звезд освещали поляну. Охотник оделся, застегнул пояс с винтовкой, зарядил обойму и вышел в переходную камеру. В оранжерее тускло светили аварийные лампы. Милис прокрался к шлюзу. Щелчок. Металлическая дверь бесшумно открылась. Не спуская трап, человек спрыгнул, огляделся и, мягко ступая, пошел вглубь джунглей.

Милиса окружили стеной папоротники; медленно продираясь сквозь переплетенные стебли лианы, длинным кинжалом расчищал себе путь. Гробовая тишина, и лишь хруст веток под ногами. Охотник шел уже больше часа. Тьма сгущалась. Милис осторожно обходил корявые остовы умерших деревьев. Вдруг он поскользнулся и шлепнулся в какую-то жижу. Включилось освещение. Ударивший сноп света высветил останки животного. На несколько десятков метров были разбросаны куски еще свежего мяса. Милис вскочил, жуткий ужас овладел им, и он бросился в заросли, не разбирая дороги. Остановился он у самой кромки воды; все тело ныло, кусок оторванного рукава свисал: впопыхах он где-то разорвал комбинезон. Милис сплюнул и сел на камень. Что-то очень тревожило его, но что, он не мог понять. Мысли все перепутались. Куда он бежал, от кого, зачем? И вдруг ослепительная мысль пронзила его: он сбился с пути.

Охотник вскочил, кинулся влево, вправо. Везде высились одинаковые папоротники. Ни тропинки. Хруст веток заставил его схватиться за винтовку. По лесу кто-то шел. А может, это его ищут? От радости Милис кинулся на звук. Хруст приближался.

Он выпустил три заряда в отвратительную огромную морду динозавра, высунувшуюся из-за деревьев. Ящер взвыл, ударами хвоста повалил несколько деревьев и, нацелив на человека свои маленькие передние двухпалые лапы, двинулся вперед. Милис отпрянул. Динозавр гигантскими скачками на длинных мощных лапах догонял охотника. Изо рта со множеством зубов падала багровая пена. Милис задыхался. Еще несколько мгновений, и он был бы раздавлен гигантом, но по пути показалось небольшое заросшее озерцо. Преследуемый спрыгнул с небольшого косогора в воду, погрузившись с головой. Мутная болотная вода освежила Милиса. Он судорожно греб руками; подводные растения цеплялись за ноги, мешая плыть. В воде стоял полумрак. Лягушки пытались спрятаться в страхе, мелькая перед самыми глазами. Что-то гибкое обвило шею. Милис рванулся, задыхаясь. Последними усилиями он сбросил подводную лиану и вынырнул.

Берег был уже недалеко, но, оглянувшись, Милис снова увидел ящера. Клыки его щелкали, кровь лилась из ран, покрывая воду растекающимися кровяными кругами. Милис закричал от вновь охватившего его животного страха. Падая и стеная, он бежал по мелководью. Вдруг нога у него подвернулась, и он упал вниз с обрыва; скатившись кубарем, охотник метнулся на землю. Силы оставили его. С ужасом он ждал приближения ящера.

XXX

Вездеход въехал на холм. Морт огляделся.

– Черт, куда его занесло?

С утра они колесили по всему лесу. Кэлвин снял с плеча винтовку, перезарядил, щелкнул затвором.

– Идти надо пешком. Мы ведь нашли его след в самом начале. По нему и пойдем.

Охотники оставили вездеход на холме, сориентировались и вышли в джунгли.

– Проклятая трава, – чертыхался Кэлвин, – следы есть, а тропинки нет. Так ведь и до ночи не найдем.

Ближе к полудню, когда солнце стояло в зените уже высоко, охотники нашли останки утконосого динозавра. Куски мяса были облеплены разнообразными насекомыми. Эрвас вскрикнул: на земле в луже крови лежала обойма винтовки.

– Он был здесь! Но куда его понесло потом?

Охотники насторожились: тишину нарушило хриплое рычание, доносившееся слева, недалеко от поляны. Люди скрылись в густой траве. Из кустов послышалось прерывистое дыхание. Морда птиценогого динозавра показалась над верхушкой большой цекады. Ствол цекады был прямым, изредка разветвленным, на вершине – корона из крупных перистых листьев, напоминавших листья пальмы. Ящер полностью вышел из зарослей. Животное достигало более 21 фута в высоту и 45 в длину, передвигалось на сильно развитых конечностях, череп его был высокий, сильно суженный спереди; челюсти имели многочисленные кинжаловидные зубы, первые пальцы передних конечностей превратились в огромный шип. Чуть наклоненное вперед туловище заканчивал короткий толстый хвост. Ящер подошел к жалким останкам утконосого. Перед глазами охотников мелькнула шея с множеством чешуевидных бугорков.

Морт навел винтовку. В прицеле появилась приплюснутая с боков голова. Грохот винтовки оглушил динозавра. Его бессмысленные глазки забегали. Чудовище ринулось на людей. Пули со свистом отскакивали от его панциря, оставляя глубокие вмятины.

– По глазам, по глазам! – орал, надрываясь, Морт.

Охотники отступали. Кэлвин, рискуя быть раздавленным, остановился и выстрелил. Ящер пошатнулся. Левый его глаз расплылся кровавым потоком. Грохот винтовок стоял над лесом несколько минут. Динозавр, делая все более неуверенные шаги, настигал охотников. Правый глаз горел безумием. Кэлвин остановился второй раз. Из правого века брызнула кровь. Это стоило охотнику жизни: ослепленный динозавр, делая огромный прыжок, рухнул на Кэлвина. Могучий хвост сделал последний предсмертный удар, выбив из рук Эрваса винтовку.

Под вечер охотники закопали останки товарища и двинулись дальше на поиски Милиса. По наскоро нарисованной карте они прошли более десяти миль. Небо темнело, умолкали крики птиц. В золотистых облаках показались три луны, освещая окрестности призрачно белым светом. Люди устало брели по равнине. Изредка попадались одиноко стоящие папоротники. Охотники подошли к косогору. Под кустом низко свисающих хвощей лежал, вытянув ноги, Милис.

– Черт побери! Куда ты запропастился?! – набросился на него Морт. – Из-за тебя Кэлвин лишился жизни! Чего тебя ночью понесло? А где твоя винтовка?!

– Не знаю. Когда бежал от ящера, наверное, потерял... – пробормотал Милис.

– Оставь его, – защитил Милиса Эрвас. – Пошли к вездеходу.

Останки ящера охотники погрузили в специальный контейнер.

– Я видел недалеко отсюда приличное озерцо. Там можно здорово поживиться, – предложил Даниэл.

– Ладно, давай. Времени в обрез. – Согласился командир.

XXX

Тростник зашевелился.

– Смотри. Вот он, – прошептал охотник.

Над водой сонно покачивалась маленькая голова на тонкой шее.

– Дан, готовь лодку и гарпуны. Далеко отсюда, можем не попасть, – приказал начальник группы.

Двухместная маленькая моторная лодка была спущена на воду.

– Пойдете справа на моторе, а там сразу кидай, – сказал Морт. – Мы с Даниэлом останемся в вездеходе. Все. Ни пуха...

Лодка с треском вынырнула из тростника и, поднимая тучи брызг, рванулась в сторону головы. Ящер повернулся, вода вокруг забурлила, и из воды поднялся двухтонный диплодок. Он с шипением вытянул шею в сторону приближающейся лодки. Милис ужаснулся.

– Назад! – заорал он, но было поздно. Эрвас нажал пусковое устройство, и гарпун вылетел, как из пращи. Оружие, со свистом разрезав воздух, вошло наполовину в шею ящера. Вода порозовела. Лодка пронеслась под ногами-тумбами пресмыкающегося. Диплодок взвыл. Занеся вверх огромный хвост, он с размаху двинул им по лодке, разнеся ее в щепки. Ящер выхватил из водоворота человека, судорожно сглотнул. Ослепленный болью, огромными прыжками начал приближаться к берегу. Морт схватил кусок троса гарпуна, свисавшего с шеи рептилии, и подцепил его к вездеходу.

– Жми! – крикнул он Даниэлу.

Внимание ящера привлекла маленькая блестящая штука, быстро мчавшаяся по берегу. Рептилия преградила путь вездеходу. Морт выпрыгнул из обреченной машины. Вездеход врезался в диплодока. Огромный взрыв поднял в воздух тысячи тонн земли и мяса. Морт приподнялся. Слабый ветерок разгонял дым над лесом. На месте взрыва вместо вездехода остались листы рваного металла и обрывки окровавленного мяса. Останки догорали. Течением прибило к берегу жалкие остатки лодки.

Шум крыльев заставил Морта взглянуть вверх. Огромная тень метнулась на землю и тут же взмыла вверх. Винтовка с треском упала с высоты и разбилась о камни.

Садилось солнце, и лес наполнялся непроницаемой тишиной.

XXX

АГЕНТСТВО ПО ИНОПЛАНЕТНОЙ ОХОТЕ.

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА 1185.

"В связи с невозвращением группы охотников "Скорпион" из соединения "Старз сафари" фирме "Кротос" выплатить страховую сумму в размере 14 миллионов долларов родным и близким пропавших".

Ростов-на-Дону

Фото Анатолия БОЧИНИНА

ТОГДА СЧИТАТЬ МЫ СТАЛИ РАНЫ...

Наш собеседник – Никита Павлович Симонян, вице-президент Федерации футбола СССР. В прошлом – известный форвард, забивший в один из сезонов 34 мяча! С Никитой Павловичем интересно бы поговорить о театре – он заядлый театрал, но чемпионат мира в Италии, всколыхнув футбольные страсти, вынес на первый план и футбольные разговоры.

– Представляю, сколько соли уже высыпано вам на раны после возвращения с чемпионата и сколько всего пришлось выслушать от болельщиков, особенно от тех, кто "точно знает", что надо было сделать для победы.

– Думаю, этого не представить, не испытав на себе яростного напора критики, упреков. Разве что не побили... Болельщики всех времен и народов – это я хорошо усвоил за долгую жизнь в футболе – считают и будут считать, что в технике или тактике разбираются лучше профессионалов, что о состоянии игроков им известно больше, чем тренерам, а потому, как вы заметили, "точно знают", кого куда надо было поставить и какую дать установку... Это все приходится выслушивать. Но в ответ мне совсем не хочется уличать кого-то в самоуверенности и категоричности или говорить о неправедном судействе на чемпионате, от которого мы пострадали (об этом немало писали советские газеты, еще больше и, замечу, сочувственней, зарубежные), скажу лишь, что мне понятна досада и горечь тех, кто за нас болел. Было все: и несправедливость, и невезенье, и наши собственные просчеты, ошибки.

– Наверное, после ответственного смотра, особенно, когда все лавры достались другим, наступает время размышлений о причинах поражения. Тем, кто любит футбол, тоже не откажешь в праве на свою версию, свою точку зрения. Многие, например, считают, что, обретя статус профессиональной команды, наша сборная немало утратила. Что в двух первых печальных матчах ее игроков настолько сковал страх поражения, боязнь потерять высокие гонорары, что они не забили ни одного гола. А вот когда в третьем матче – с командой Камеруна – терять было практически нечего, она показала прекрасный футбол, наши ребята играли легко, раскованно, и сразу четыре мяча влетели в сетку противника.

– Я считаю, виноват тут не профессионализм, а напротив – полулюбительство. Именно полулюбительство не позволяло нам, к сожалению, долгие годы, да и по сей день не позволяет, выйти на тот высокий профессиональный уровень, на котором находятся многие европейские команды.

Участвуя в поединках с профессионалами, гордились, что мы не такие, как они – чище, выше, бескорыстнее, хотя ни для кого не было секретом, что наши футболисты тоже получали зарплату, потому что работать инженером или слесарем и одновременно выступать в высшей лиге просто невозможно. Так что разница между нашими и западными игроками сводилась лишь к размеру оплаты: бедные сражались с богатыми.

Да, сейчас возросла цена победным очкам, и престижная и денежная. Это коснулось, наконец, и наших футболистов. Они вкусили и преимущества, и жестокость про-

фессионального футбола, где все определяется системой поощрений и наказаний. Здесь ничего не прощается. За разного рода опоздания, нарушения клуб или федерация, если это национальная сборная, налагают колоссальные штрафы, но вместе с тем за успешное выступление выплачиваются и крупные гонорары...

– Значит, преимущества профессионального футбола, главным образом, в возможности хорошо заработать?

– Точнее – во всех вытекающих отсюда последствиях. Если футболист хочет заработать себе на жизнь, обеспечить семью – а время его довольно коротко: восемь-десять лет, – то он должен отказаться от многих удовольствий. Готовиться, играть, снова готовиться и играть...

– Суровая жизнь.

– Конечно, суровая. Физические перегрузки, моральные издержки. Сегодня клуб и публика носят тебя на руках, а завтра, если не оправдываешь надежд, клуб с тобой в одночасье прощается, а поклонники забывают.

– Все время читаешь и слышишь, что западные клубы живут повольней, нет сборов, а наши футболисты практически не бывают дома, не видят жен и детей... Похоже на каторгу.

– Сборы не от хорошей жизни. Здесь тоже сказывается отсутствие профессиональной школы. Профессионал не позволит себе, как правило, не то что стакана вина, но даже и стакана пива, хотя это не возбраняется. У нас же пристрастие к спирто-водочным изделиям стало национальным бедствием. Спортсмены тут не исключение, вот и приходится держать их на сборах перед ответственными соревнованиями. И только сборы, кстати, при наших трудностях с продовольствием, добыванием продуктов могут обеспечить им полноценное калорийное питание. Без него при страшных физических нагрузках просто невозможно поддержать нормальную спортивную форму.

– Вот мы сейчас говорим с Вами, Никита Павлович, о материальном вознаграждении, как стимуле побед, а я вспоминаю эпизод – вы же мне его и рассказывали однажды – чемпионата мира 1958 года. Вам тогда предстояла игра со сборной Швеции. Игроки были вымотаны до предела предыдущей игрой, глубокой ночью летели из Гетеборга в Стокгольм, только легли, как их разбудила врубовая машина – под окнами отеля шел ремонт мостовой...

– Да, было впечатление, что все подстроено специально, что нас решили взять измором, ведь уже в три часа дня надо было выходить на матч...

– Тренер, Гавриил Дмитриевич Качалин, ободрял вас, настраивая на ничью, а один из чиновных руководителей делегации заявил: "Ничья нас не устроит! Мы громили шведов под Полтавой, обязаны разгромить и сейчас. Давайте, ребята, поднажмите, за игру мы вас премируем!" Что тогда ответил ему Яшин?

– Лев Иванович возмутился: "Мы приехали сюда не зарабатывать, а защищать честь страны, и сами понимаем, что надо делать!"

– Можно еще вспомнить случай из истории – как на Олимпиаде в Мельбурне Николай Тищенко играл со сломаной ключицей, потому что не разрешались замены. Какая же роль теперь у патриотизма?

– Несомненно, прежняя. Просто очень долго мы носились с мыслью, что советский человек самый патриотичный из всех людей планеты, и никто не может любить своей страны так, как он. Но сейчас, в период гласности и демократизации, когда шире открылись двери в другие страны, мы видим, что их граждане тоже любят родину. Все, наверное, обратили внимание, с каким трепетом футболисты других стран слушают свои родные гимны. А слова нашего гимна, к сожалению, звучат сегодня бессмысленно, если не кощунственно. Поэтому и мелодия не вызывает больше высоких чувств...

Так что нормальная оплата тяжелейшего труда не уменьшает патриотизма. И если бы Лев Иванович играл сегодня, его труд оплачивался бы выше, чем в свое время. Его жизнь и отдаленно не напоминала жизнь зарубежных футбольных знаменитостей, даже не столь ярких, как он. Очень жаль, что Золотую Звезду Героя Социалистического Труда он получил всего за неделю до смерти. Но эта награда, думаю, нужна всему футболу, всему спорту. Она как бы явилась признанием, что игра – это труд, такой же, как труд сталевара или актера.

– Но вернемся к версиям болельщиков о причинах поражения нашей сборной на чемпионате в Италии. Некоторые читатели "Мы" не высказывают напрямую своей точки зрения, но она безусловно звучит вот в таком вопросе: "Почему в последние годы так мало обновился состав сборной? Почему почти нет игроков до двадцати лет, в то время, как выступать за взрослую команду могут уже семнадцатилетние? Появился девятнадцатилетний Олег Саленко, но его не взяли на чемпионат – почему?"

– Смею заверить, не из-за плохого отношения руководителей сборной к молодости. У Олега, на мой взгляд, – и тренеры так считают, – нет достаточной скорости, уступает он другим игрокам и в футбольном мышлении... Да, в сборной нет семнадцати-восемнадцатилетних, но я не вижу их и в других национальных командах. Поразительный случай, который произошел на чемпионате мира в Швеции в 1958 году, когда никому не известный семнадцатилетний бразильский парень забил в полуфинале два мяча французам, а в финале – два мяча шведам, пока не повторяется. Может, потому, что футбол стал сложнее. У игрока все меньше пространства и времени для обработки мяча, его лишают маневренности. Уплотнилась оборона. Футбол стал очень жестким, я бы сказал, жестоким... А может, причина в другом – не родился второй Пеле. Больше тридцати лет прошло с момента его стремительного взлета, а игрока, равного ему, пока нет. Сейчас с ним нередко сравнивают Марадону, однако Пеле по-прежнему непревзойден.

– А кто из нынешних футболистов вам больше всего нравится?

– Голландец Ван Бастен. Хотя на чемпионате он сыграл ниже своих возможностей. Трудно сказать, что с ним произошло, но он не смог забить ни одного мяча. Тем не менее, это не поколебало моего отношения к нему, верю, он еще будет забивать. Ван Бастена я воспринимаю как совершенную модель футболиста. При высоком росте он на редкость пластичен, координирован. Вели-

колепно владеет мячом, умеет играть с партнером. Вовремя успевает туда, где в следующее мгновение будет мяч, не упускает голевых ситуаций, бьет по воротам из немыслимых положений. И при всем при этом остается корректным игроком.

– Видимо, не случайно вам нравится эта черта. Вы и сами, по всеобщему признанию тех, кто видел вас на поле, отличались редкостной корректностью.

– Я выходил играть и только играть. Никогда не мог понять и принять тех, кому ничего не стоило "врезать" сопернику, кто считал это чуть не главным залогом победы. Это можно объяснить лишь хамством и недостатком мастерства. И сейчас мне мало симпатичны задиристые игроки, провоцирующие на ответную грубость. Опытный футболист с развитым чувством благородства даже в подобном случае способен уйти, избежать столкновения. Ван Бастен именно из таких, как и Гуллит, лидер голландцев... Корректность в человеке еще можно воспитать, а вот координированность, чувство мяча – с этим нужно родиться, возможность тренера сводится к тому, чтобы заметить дар в игроке и развить.

Однажды мне удалось наблюдать тренировку Марадоны. Многие видели его в матчах, восхищались им, но на тренировке он поражает еще больше. Отнюдь не спортивного вида, маленький, с животиком, но что он вытворяет с мячом! Такое впечатление, что в нем заложены совершеннейшие шарниры. Так что дар божий может достаться человеку с любыми внешними данными.

Как-то во время одного из матчей наших клубных команд я, сидя на трибуне, не выдержал и высказался вслух: "Ну неужели это так сложно – точнее сделать передачу?!" Услышав мои слова, известный спортивный журналист заметил мне: "Странные вы люди, неужели не понять, как трудно выполнить то, что вам давалось легко и просто?"

В конце пятидесятых мне довелось играть в сборной вместе с Эдуардом Стрельцовым. Мы звали его "наш бэби": ему было восемнадцать лет, а знаменитым он стал еще раньше, в семнадцать, выступая за родное "Торпедо". Но это вовсе не значит, что в былые годы больше доверяли молодым. Стрельцов был настолько ярким футболистом, что никто не гадал, когда видел его впервые, выйдет ли что-то стоящее из парня или нет. Уже внешность была приметна – мощный торс, сильные ноги, ни на кого не похож. Для соперника его действия всегда являлись неожиданностью. Если Эдик играл на подъеме, защита была бессильна. Он делал то, чего от него больше всего ждала команда, забивал гол, нередко становившийся решающим...

Видите, мы невольно вышли на проблему: талант и все прочие свойства. Думаю, Рихтер стал великим музыкантом не потому, что больше других пианистов просидел за инструментом. Он просто гений.

– Но при этом, я надеюсь, вы не исключаете и другого: без любви к музыке и бесконечных часов, точнее, лет за роялем не состоялся бы как великий пианист и Рихтер. Как тренер, вы хорошо знаете, что футбольные звезды не падают с неба. Их надо высмотреть на земле, с ними нужно много работать. Видите ли вы в клубных или сборных юношеских командах таких игроков, которые завтра засверкают, как Стрельцов?

– Таких, к сожалению, не вижу. Смена не дает оснований для радужных надежд. Причин тому немало. Никто из нас, скажем, не питает иллюзий насчет нашей легкой промышленности или домостроительной индустрии – знаем, не завалят нас завтра высококачественными товарами и не построят нам удобных красивых домов. Чудес не бывает. Тут мы реалисты. Но вот от футбола почему-то все всегда ждут чуда. Проиграли – виноваты! И никто не желает разбираться в плачевном состоянии нашего футбольного хозяйства. А ведь приток молодых талантливых футболистов зависит от состояния начальной футбольной школы, куда приходят шестилетние мальчишки. Школ вроде бы и немало, но как они нищенствуют! Бывает, что на всю школу – один футбольный мяч. Когда Федерация упрекнула тренеров юношеских сборных команд, что они слишком часто устраивают сборы – это ведь расточительно! – они нам объяснили: на местах нет условий для нормальных тренировок, нет мячей. На сборах же мяч находится для каждого. И тут тренеры видят, как мальчишки быстро выдыхаются – не привыкли столь интенсивно работать. В их родной команде на тренировке, дай бог, три-четыре мяча выносят на поле. Пока один работает, у остальных пауза. Это все равно, что на целый класс – два букваря. Положение с инвентарем, полями катастрофическое. А власти в городах, которые должны об этом заботиться, заявляют: "Нам не до спорта, не до культуры!" Ничего не вкладывая, мы тем не менее многое хотим получить.

В других странах поражаешься обилию полей, площадок с ухоженными газонами. На них видишь мальчишек в великолепной футбольной форме, играющих великолепными мячами. Наши дети этого лишены. В соответствующих условиях работают и тренеры, получающие меньше уборщицы метро. Приходится удивляться, как мы еще держимся на плаву. Сегодня мы много говорим о медицине, о том, чтобы выделять больше средств, лечить народ. Это правильно, но почему мы не заботимся о другом – чтобы меньше было больных, – о развитии физической культуры. Разовьешь ли ее на двадцать три копейки, выделяемых в год на душу населения, на каждого из нас. Футбольные поля должны быть в любом маленьком городке, как в Европе, в любом поселке, вот тогда можно ждать чего-то...

– Но разве были они в пору вашего детства и отрочества, в то время, когда росли звезды, восхищавшие весь мир в пятидесятые-шестидесятые годы? И мячей у вас не было, а о форме и говорить нечего – сатиновые трусы считались богатством.

– Я люблю вспоминать свое детство, но не для того, чтобы попрекать молодых: вот у нас ничего не было, а мы... Времена другие, мальчишки другие и не надо их тыкать носом в былую нищету, хоть и полную романтики. Кстати, в моем детстве были и площадки, и дворы, где можно было гонять мяч в свое удовольствие, не то что в нынешних новых кварталах.

– А не кажется вам, что сейчас у нас угасает интерес к футболу? Я, естественно, говорю не о чемпионатской страде, приковавшей всех к телеэкранам...

– Не хочется верить, что угасает. Когда играет "Спартак" или киевское "Динамо", стадионы полны. Все зависит от мастерства, от матча. Хо-

тя кризис в клубном футболе ощутим. Мало сильных клубов, дефицит талантливых футболистов...

– Я имею в виду не клубный, а стихийный, если можно так сказать, любительский футбол – дворовый, школьный. Вот рядом с моим домом спортивная школьная площадка, огороженная забором, и я почти не вижу на ней ребят, хотя калитка открыта. Иногда гоняют мяч два-три человека, а чтобы выйти на игру класс на класс, дом на дом – мало ли по каким признакам собираются в команду – такого нет. А прежде бывали матчи с болельщиками, блистали свои – местного значения – звезды.

– Мы в Сухуми, помню, играли улица на улицу (кстати, именно на таких играх тренеры высматривали, набирали учеников в спортивную школу). Когда город стал нам тесен, мы вырвались на "международный" уровень. Прослышали, что в местечке Гульрипши – это в двенадцати километрах от города, есть площадка, почти как настоящее футбольное поле, и мы устремились туда. Дело было в войну. Электрички по Черноморскому побережью не ходили, и мы ездили на товарняках. Соперников не надо было предупреждать о нашем прибытии, мы их всегда находили на поле или на пляже. Играли без судей, строго придерживаясь мальчишеского кодекса чести – сзади не бить... Часов мы естественно не наблюдали – их просто ни у кого не было. Играли до полного изнеможения, а потом едва доходили до дому – двенадцать километров пешком, при луне. Дома обычно ждал нагоняй от отца: "Я не напасусь ботинок! Бросишь ты, наконец, эту хулиганскую игру?!." Но ведь кроме "хулиганской игры", у нас ничего не было. У современных мальчишек – телевизор, дискотеки, рок-музыка... Поэтому вдвойне нужны красивая форма, зеленые поля, а не облысевшие, где пыль забьет все легкие. И неудивительно, что наши мальчишки сейчас больше предпочитают спорт под крышей – спортивные залы, а то и бары...

– А чем может помочь начальной школе Федерация футбола?

– Мы молодая, хотя и самостоятельная организация. Средств к существованию пока не имеем. Футбольных полей сразу не построим, и не Федерация должна их строить, а местные власти, местные спортивные клубы. Но мы можем помочь детским и юношеским школам в приобретении футбольного инвентаря.

Хотя сегодня мы не чувствуем притока молодых талантливых футболистов, я верю, что такое время обязательно придет.

– Вы хотите сказать, что уповаете не только на улучшение подготовки игроков, но и на стечение благоприятных обстоятельств?

– Конечно. В национальном футболе любой страны случаются периоды взлетов и многолетних спадов, иногда трудно объяснимые. Так что надо работать, искать возможности для совершенствования команд – любительских, детских, профессиональных. Это задача спортивных специалистов. Но успех зависит еще и от отношения власти – Советов народных депутатов всех уровней – к физкультуре и спорту. Футбол пока что остается видом спорта номер один. И верю, это – надолго, навсегда!

Беседу вела
Тамара АЛЕКСАНДРОВА,
наш специальный
корреспондент

МОСКВА, МАКДОНАЛДС, ДОБРОЕ УТРО!

Так приветливо отреагировали на мой звонок на другом конце провода.

– Доброе утро, – пришлось мне изменить заготовленное казенное начало делового разговора. – Могу я поговорить с директором?

– Извините, но Марина Алексеевна будет только через полчаса, перезвоните, пожалуйста.

– Огромное спасибо, – сама не знаю, как наградила я свою благодарность безразмерным эпитетом и подумала: "А все-таки приятно, когда к тебе так доброже-

лательно относятся, прямо хоть еще раз звони".

Наверное, моя логика знакома тем, кто любит бывать в "Макдоналдсе". Ведь со времени открытия ресторана прошло больше полугода: любопытные успели попробовать все блюда, гурманы убедиться, что ничего особенного в них нет. И, кажется, давно бы пора очереди уменьшиться, а то и совсем исчезнуть. Но известный во всем мире как закусочная, "Макдоналдс" с Пушкинской остается местом паломничества. И не такие уж мы обжоры, и не так уж преклоняемся перед заокеанским пышным бутербродом, чтобы изо дня в день пополнять одну из самых длинных очередей. Дело в том, что за последним милиционером, самоотверженно выполняющими свой долг под натиском манящих запахов, начинается мир, пока необычного для нас обыкновенного сервиса.

– Как странно, что у вас улыбаются, и так много молодых, – обращается иностранка к девушке в красном козырьке, которая выполняет ее заказ.

Странно туристке, конечно, не потому, что на родине ее никто

не улыбается, а потому что она уже скорей всего имела счастье пообщаться с нашими озлобленными, рано стареющими продавщицами.

А нам-то, мадам, как все это удивительно и непонятно. Начиная с чистых столиков и заканчивая надписью на значке у каждого работника: "Чем я могу Вам помочь?"

Но все-таки самое интригующее – это то усердие, с которым ребята следуют политике ресторана: посетитель должен остаться доволен. Ведь мы уже привыкил к мысли о том, что, во-первых, хорошо у нас работать невозможно, а во-вторых, что молодежь вообще не любит работать. С этим тезисом я готова была поспорить уже после первого посещения "Макдоналдса". Но для любого спора нужны аргументы. Чтобы получить их, я и отправилась в ресторан еще раз, вооружившись диктофоном и директорской визитной карточкой, которая позволяла мне приблизиться к цели, минуя очередь.

Задача у меня была непростая: узнать как можно больше и отнять при этом у ребят как можно меньше рабочего времени. И чтобы не задавать вопросов, близких к анкетным или статистическим, многое про них узнала заранее.

Итак, средний возраст предполагаемых собеседников – 21 год. Всего работает в "Макдоналдсе" 900 человек (в смену – 300). Это те, кто выдержал нешуточный конкурс, ведь подано было примерно 3500 заявлений.

Наш разговор в комнате отдыха "Макдоналдса" начался как раз с приема на работу.

О.Л.: Как можно было убедить "приемную комиссию" в том, что ты подходящая кандидатура?

Юля, 18 лет: Сначала рассматривали наши анкеты, да потом уже все решали на собеседовании, вернее, на двух собеседованиях: одно с нашими, а другое с канадскими менеджерами. Главным было ответить на вопрос: "Почему ты хочешь работать в "Макдоналдсе"?

О.Л.: И что же ты на него ответила?

Юля: Наверное, я ничего особенного не сказала, но мне так хотелось работать, что, видимо, глаза горели.

О.Л.: А что значило условие в анкете прислать свою фотографию? У официанта ресторана должен быть римский профиль?

Лена, 18 лет: Нет, это был не конкурс красоты, хотя внешность тоже имеет значение, влияет на настроение посетителей...

Можно добавить: не только идеальной внешности не требовалось, не имел значения и твой аттестат или бывшая профессия. Ведь ставки на профессиональных продавцов или работников сферы питания сделано не было. За месяц обучения принятые на работу молодые люди постигли тонкости сервиса, по-моему, намного глубже, чем в торговом училище.

О.Л.: С тех пор, как открылся ресторан, прошло уже много месяцев и во всех плюсах и минусах работы официанта "Макдоналдса" вы уже смогли разобраться. Почему ваши боссы так уверены, что вы задержитесь здесь надолго?

Олег, 20 лет: Потому что плюсов гораздо больше. Мы достаточно получаем – два рубля в час. Причем, это – минимум. Если не прогуливать и выполнять все требования, то к этому прибавятся еще месячные, квартальные премии.

О.Л.: А чтобы выполнить все требования, много надо крутиться? Устаете вы за день?

Олег: Выполнять требования – это значит не крутиться, а делать все, как положено. Во-первых, всегда быть вежливым. Если ты работаешь в зале, то постоянно нужно следить за чистотой: убирать подносы, протирать пол. За прилавком – быстро обслуживать и точно рассчитываться: чувствуешь себя довольно напряженно, пока не выработается навык. На кухне много механической работы, и тоже ошибаться нельзя, потому что это – конвейер, где все должно работать четко.

Юля: Мы могли рассчитать свои силы. Предлагался любой удобный график: полная неделя, один – три дня. Школьникам, например, удобно работать вечером. Многие работают, как я, пять раз в неделю по шесть часов.

Андрей, 23 года: Мне кажется, я точнее всех отвечу, почему мы хотим здесь работать. Это единственное место – поверьте моему опыту, – где заработок зависит от того, как ты трудился. Именно трудился, а не перебирал бумажки. Другие положительные моменты – лишь дополнение.

"Другие положительные моменты" – это, как я поняла, вовсе не осознание своей приближенности к сэру Чизбургеру и мистеру Картофелю-фри. И умалять их значение было бы тоже неправильно. Пока мы разговаривали, в комнату отдыха все время поднимались ребята с такими же, как у посетителей, подносами, только яства на них были бесплатными. Кроме того, в свой выходной день работники "Макдоналдса" могут отобедать в ресторане с десятипроцентной скидкой.

Для ребят арендуют стадионы, устраивают экскурсии. Есть возможность ездить на conventions всех ресторанов "Макдоналдс" в Лондон, Торонто, Лас-Вегас.

Руководители ресторана не ошиблись, решив устраивать для молодежи дискотеки, вечера в лучших залах Москвы. Такой вечер был во дворце молодежи, на корабле.

Такие "положительные моменты" – мечта любого трудоспособного. Но...

О.Л.: Вы не боитесь, что настанет время, когда вы уже физически не сможете выполнять работу официанта "Макдоналдса"? Не случайно же здесь берут только молодых? Что ждет вас потом? Не боитесь, что жизнь уйдет на то, чтобы научиться виртуозно владеть шваброй или с невероятной скоростью конструировать Биг Мак? Не бьет такое по честолюбию?

Олег: Какой солдат не мечтает стать генералом? Многие стремятся стать менеджерами и продвигаться по служебной лестнице фирмы, а не ходить всю жизнь в официантах.

Лена: Я сейчас поступаю в коммерческий институт, но из ресторана уходить не собираюсь – поступаю на заочное отделение. А потом, уже с высшим образованием, надеюсь получить здесь более квалифицированную работу.

Андрей: Стать менеджером совсем не просто, но возможно, тем более, что сеть ресторанов будет расширяться.

О.Л.: А что для этого надо?

Фото Владимира ЛАГРАНЖА и Михаила СТЕПАНОВА

Андрей: Работать и учиться.

Олег: Здесь нужны наши руки и головы, а какие у тебя связи и кто родители – никого не интересует.

"Макдоналдс" – фирма солидная и не хочет ронять себя в глазах посетителей из-за того, что один неловко подал поднос, а другой забыл улыбнуться. Для того, чтобы постоянно оценивать уровень, существуют специальные контрольные листы. В них отмечается все: внешний вид, сноровка, умение общаться с другими членами бригады. Ты можешь быть прекрасным человеком, но не любить мыть шею. Вполне возможно, что в другом месте второе, в принципе, как и первое, осталось бы незамеченным. Но здесь и то, и другое будет оценено. Такого еще не было, чтобы за ошибки сразу указывали на дверь, наоборот, помогут и научат. Но если ты никак не можешь преодолеть свои недостатки, или не хочешь этого сделать, то с рестораном придется распрощаться. Правда, такого практически не случается. Желание работать хорошо превратилось в привычку.

Кстати, очередь льстит самолюбию ребят, но они предпочли бы, чтоб ее все-таки не было. Как и всего другого, что может испортить настроение посетителей.

Ольга ЛЯЛИНА

ОБЛАЧНЫЙ КРАЙ
БРАВО
НАУТИЛУС-ПОМПИЛИУС
Рубрику ведет Андрей БУРЛАКА
РОК-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

"ОБЛАЧНЫЙ КРАЙ"

Известность пришла к "Облачному краю" – первой и доныне самой яркой звезде архангельского рока – в середине восьмидесятых, когда запрет на выступления побудил самодеятельных рок-музыкантов обратиться к звукозаписи как к единственному способу донести свои мысли и чувства до максимально большего числа людей. Так возникло движение "магнитофонного рока", не последнюю роль в котором сыграли музыканты из Архангельска: созданная группой за сравнительно короткий период времени серия магнитофонных альбомов демонстрировала не только несомненное музыкальное дарование ее участников и их своеобразное видение мира, но и изобретательность, позволявшую им в полукустарных условиях записывать вполне профессионально звучащий материал.

Костяк "Облачного края" – Сергей Богаев (гитара), Николай Лысковский (клавишные) и Олег Раткин (вокал) – сложился в конце семидесятых, когда они вместе играли в различных самодеятельных группах, однако нынешнее название и своеобразная исполнительская манера появились лишь в 1982 г., когда "Край" выступил на областном конкурсе

советской песни с собственным хард-роковым номером "Его зарыли в шар земной" (на стихи С. Орлова) и получил резко отрицательный отклик официозного жюри.

В том же году "Край", решив больше не рисковать, начал работать на собственной студии, записав один за другим три полновесных альбома, ставшие известными далеко за пределами их родного города. В 1983–1984 гг. появились еще два студийных цикла – "Художественная самодеятельность" и "Вершина идиотизма". Они упрочили популярность группы, а кроме того, привлекли к "Облачному краю" внимание известного ленинградского звукорежиссера Андрея Тропилло. Тем же летом он пригласил Богаева (автора практически всех песен "Края") на свою студию "АнТроп", где тот, используя многоканальный магнитофон и помощь барабанщика Евгения Губермана (в ту пору – "Зоопарк"), в одиночку записал альбом "Ублюжья доля". На следующий год группа – уже в полном составе – записала в Ленинграде "Стремя и люди".

В 1986 г. они (под "псевдонимом" "О'Кей") были приняты в ленинградский рок-клуб и попытались выступить на очередном его фестивале, однако тексты Богаева – хлесткие, полные грубовато-ироничных и метких наблюдений с натуры – оказались "непроходимыми" даже по либеральным меркам РК.

Но ситуация изменилась через каких-то полгода. "Облачный край" стал главным героем возрожденного после долгого перерыва Архангельского рок-фестиваля (1987). На сцене неизменную троицу дополнили бас-гитарист "Св. Луизы" Андрей Ильичев и временно севший за барабаны певец из "Аутодафе" Дмитрий Леонтьев. Тем же составом группа выехала на свои первые гастроли в Ленинград, а затем под шквал аплодисментов выступила на Подольском рок-фестивале. А. Ильичева в 1987 г. сменил еще один участник "Аутодафе" – Андрей Лукин.

В 1988–1989 гг. "Облачный край" изредка выступал с концертами, однако большую часть времени проводил, репетируя новый материал и пытаясь выйти за пределы круга тем, очерченных ранними альбомами. Итогом их экспериментов стал восьмой альбом, записанный А. Тропилло в июне 1989 г.

ДИСКОГРАФИЯ:

1. "Облачный край" (1982).
2. "Облачный край-2" (1982).
3. "Великая гармония" (1982).
4. "Художественная самодеятельность" (1983).
5. "Вершина идиотизма" (1984).
6. "Ублюжья доля" (1984).
7. "Стремя и люди" (1985).

"БРАВО"

Звезда московской группы "Браво" стремительно взошла на музыкальном небосклоне в ноябре 1983 года сразу после ее первого концерта с такими же неизвестными пока "Звуками Му". К тому времени группе не было еще и двух месяцев: еще летом гитарист Евгений Хавтан играл в забытой теперь команде "Редкая птица", барабанщик Павел Кузин и басист Андрей Конусов вместе с будущим лидером "Бригады С" Гариком Сукачевым пытались пробиться с "Постскриптумом", саксофонист Александр Степаненко заканчивал второй курс училища имени Гнесиных, а Жанна Агузарова только мечтала о карьере певицы. Вместе они собрались в сентябре. Тремя главными достоинствами "Браво" на первом этапе существования были романтико-ностальгический имидж стиляг конца 50-х – начала 60-х годов, гибкий и выразительный голос вокалистки и свежие мелодии, в которых смешались забытые интонации твиста и босса-новы, гармоническая прозрачность бит-бита и энергетический напор новой волны.

Записанный зимой альбом "Браво-84" мгновенно разошелся по стране и сделал имя группы известным буквально всюду, в то время как она сама испытала серьезные проблемы и была на грани распада. Только к концу

Фото Евгении МАТВЕЕВА

1985 года музыканты собрались вновь, начали выступать и записали второй магнитоальбом – А. Конусова к тому времени сменил Тимур Муртузаев. Деятельное участие в судьбе "Браво" приняли музыкальный критик Артем Троицкий и знаменитая Алла Пугачева. Их стараниями группа не только получила возможность нормально репетировать и выступать, но и попала в программу "Музыкальный ринг" ленинградского телевидения, которая существенно расширила ее аудиторию. Тогда же состоялись первые гастроли в Ленинграде.

Очень скоро группа почувствовала себя достаточно сильной, чтобы самостоятельно решать свою судьбу. "Браво" покинули стены рок-лаборатории, в которой состояли с момента ее основания и в середине 1986 года стали профессионалами. Двухгодичная магнитофонная "артподготовка" сделала свое дело: группа всюду находила своих слушателей, с каждым концертом множа армию поклонников. Они стали частыми гостями телевидения – правда, всего с парой бесконечно повторяющихся клипов. Фотографиями участников "Браво" запестрели газеты и журналы всей страны. Вот только с репертуаром у группы были проблемы: то ли быстро кончился первоначальный запал, то ли изматывающая жизнь на колесах не оставляла времени на обдумывание новых идей, но факт остается фактом: и три года спустя "Браво" продолжали петь песни 1984–1985 годов. Не способствовали созданию творческой атмосферы и "текучесть" состава. В 1987–1988 годах в "Браво" сменилось несколько басистов и саксофонистов, пришел и ушел клавишник, наконец, сама Жанна несколько раз уходила и возвращалась, пока не приняла окончательное решение, оставив группу осенью 1988 года.

Несколько месяцев о "Браво" не было слышно. Только в апреле 1989 года на организованном газетой "Московский комсомолец" фестивале в спортивном комплексе "Олимпийский" группа объявилась в существенно обновленном составе: к ветеранам Хавтану и Кузину, а также пришедшему годом позже саксофонисту Федору Пономареву добавились басист Сергей Лапин, певец Евгений Осин и трубач Алексей Еланский. Они были довольно тепло встречены публикой, а позже продолжали регулярные выступления.

Первый альбом "Браво" (записанный еще составом 1986 года) был выпущен почти одновременно фирмой "Мелодия" (СССР) и "Полярвокс" (Швеция).

С июня 1989 года группу покинули П. Кузин и А. Еланский, принявшие предложение Игоря Сукачева вступить в реорганизованную им "Бригаду С".

Илья КОРМИЛЬЦЕВ

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

Круговая порука мажет как копоть
я беру чью-то руку а чувствую локоть
я ищу глаза а чувствую взгляд
где выше голов находится зад
за красным восходом розовый закат
скованные одной цепью
связанные одной целью

здесь составы вялы а пространства огромны
здесь суставы смяли чтобы сделать колонны
одни слова – для кухонь другие – для улиц
здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц
и я держу равнение даже целуясь
на скованных одной цепью
связанных одной целью

можно верить и в отсутствие веры
можно делать и отсутствие дела
нищие молятся молятся на
то что их нищета гарантирована

здесь можно играть про себя на трубе
но как не играй все играешь отбой
и если есть те кто приходят к тебе
найдутся и те кто придут за тобой
также скованные одной цепью
и связанные одной целью

здесь женщины ищут но находят лишь старость
здесь мерилом работы считают усталость
здесь нет негодяев в кабинетах из кожи
здесь первые на последних похожи
и не меньше последних устали быть может
быть скованными одной цепью
связанными одной целью

КАЗАНОВА

Если нет любви в твоих проводах
если холоден голос в твоем телефоне
я могу понять и могу простить
я звоню в никуда я забыл даже номер
вчерашний день не сегодняшний день
на мягких подушках не въедешь в вечность
ты повесишь на стул позабытую тень
моих присутствий и влажных приветствий

Илья КОРМИЛЬЦЕВ

Казанова, Казанова – зови меня так
мне нравится слово
в этом городе женщин
ищущих старость
мне нужна его кровь
нужна его шалость

Илья КОРМИЛЬЦЕВ

Казанова, Казанова – зачем делать сложным
то что проще простого
ты – моя женщина
я – твой мужчина
если нужно причину
то это причина

Илья КОРМИЛЬЦЕВ

если голос твой слышен
еще ты не спишь
ты светишься бронзой как раздетое лето
ты манишь на свет всех крылатых в ночи
но не хочешь согреть никого этим светом
подражая примеру соседских глазков

Илья КОРМИЛЬЦЕВ

ты шпионишь постыдно за собственным телом
но не видишь на бедрах свинцовых оков
хотя можешь увидеть даже черное в белом

Казанова, Казанова...

Илья КОРМИЛЬЦЕВ

каждый день принесет десять новых забот
и каждая ночь принесет по морщине
где ты была когда строился плот
для тебя и для всех кто дрейфует на льдине

Я ХОЧУ БЫТЬ С ТОБОЙ

я пытался уйти от любви
я брал острую бритву и правил себя
я укрылся в подвале я резал
кожаные ремни
стянувшие слабую грудь

я хочу быть с тобой
я хочу быть с тобой
я так хочу быть с тобой
и я буду с тобой

твое имя давно стало другим
глаза навсегда потеряли свой цвет
пьяный врач мне сказал что тебя больше нет
пожарный выдал мне справку что дом твой
сгорел

Илья КОРМИЛЬЦЕВ

но я хочу быть с тобой
я хочу быть с тобой
я так хочу быть с тобой
и я буду с тобой

Илья КОРМИЛЬЦЕВ

в комнате с белым потолком с правом
на надежду
в комнате с видом на огни и с верою
в любовь

Илья КОРМИЛЬЦЕВ

я ломал стекло как шоколад в руках
я резал эти пальцы за то что они не в силах
прикоснуться к тебе
я смотрел в эти лица и не мог им простить
того что у них нет тебя и они могут жить

Илья КОРМИЛЬЦЕВ

но я хочу быть с тобой
я хочу быть с тобой
я так хочу быть с тобой
и я буду с тобой

Илья КОРМИЛЬЦЕВ

в комнате с белым потолком с правом
на надежду
в комнате с видом на огни и с верою
в любовь

Его судьба отличается от судьбы тех, кто обрел популярность на сцене. Илья Кормильцев – знаменитый инкогнито... Написанные им строки знают не только юные поклонники рока, но и интеллектуалы достаточно зрелого возраста: "Скованные одной цепью", "Ален Делон говорит по-французски". "Я хочу быть с тобой". В лицо его не знает почти никто. Он не похож на тот стереотип, который невольно встает за словом "рок". "Ироничный прагматик", "философ времен компьютеров". Можно придумывать разные определения, но все они отразят только некоторые черты Кормильцева. Закончил химический факультет университета, свободно владеет английским и итальянским, занимается литературным переводом, читает еще на нескольких языках, пишет пьесы, один из создателей нового журнала, который начал выходить в Свердловске.

У него всегда полно идей, он может на ходу сочинить, например, сценарий для голливудского боевика, рассказать потрясающий анекдот из жизни английских лордов, популярно изложить особенности древневосточной философии... И уж наверняка поиронизирует над каждой строчкой, которую здесь о нем написали.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

"НАУ" ПОКА НЕТ

В это невозможно было поверить. Казалось, "эта музыка будет вечной". Однако тем и подкупали песни "Наутилуса помпилиуса", что, в отличие от привычной эстрады, они представляли жизнь более сложной, чем устройство магнитофона, для подлитки которого достаточно заменить батарейки. Непростые личные взаимоотношения музыкантов "Наутилуса" периода взлета в апогей массовой известности со стартовой площадки лужниковской "Рок-панорамы-87" развалили команду. Вскоре после "легализации" (но не в связи с ней) группу покинул бас-гитарист Дмитрий Умецкий. Не прошло и двух лет, в самостоятельную команду "Ассоциация" выделились остальные музыканты во главе с саксофонистом и клавишником Александром Могилевским. Вячеслав Бутусов сделал попытку вновь воссоединиться с Умецким, что кончилось вторичным, еще более болезненным разрывом былых приятелей, начинавших дело в Свердловске студентами архитектурного института.

Название коллектива оказалось в чем-то пророческим. После самого раннего наименования – "Али-Баба и сорок разбойников", группа окрестила себя просто "Наутилусом", тезкой подводной лодки жюль-верновского капитана Немо. Времена андеграунда

склоняли к подобным аналогиям. Вскоре выяснилось, что на официальной эстраде уже существует ансамбль такого же названия. Тогда-то прибавилось слово "помпилиус", превратив имя ансамбля в обозначение моллюска, створками раковины откусывающего части своего живого тела, чтобы продолжать жить.

Сколько же нынче "Наутилусов" и, главное, насколько они творчески состоятельны?

К чести Могилевского надо сказать, что он не претендовал утащить с собой имя "НП". Правда, подобно "Студиям "Ласковый май", имеют тенденцию плодиться "Студии "НП". Одна существует в Свердловске, где "Ассоциация" записала в прошлом году свой дебютный магнитоальбом "Клетка для маленьких", охарактеризованный рок-тусовкой примерно как квалифицированный попс. Вторая открыта Бутусовым при Ленинградском отделении Советского фонда культуры. Здесь приютился новый состав "Нау": А. Беляев (гитарист, пришедший из группы "Телевизор"), И. Копылов (бас-гитарист из "Петли Нестерова"), И. Джавад-заде (барабанщик из "Арсенала").

Призрачным пока остается обещание создать "альтернативный московский "Наутилус", которым то и дело грозится Умецкий. Их совместная с Бутусовым работа, последняя попытка содружества, альбом "Человек без имени" будет выпущен Всесоюзной ассоциацией воинов-интернационалистов совместно с НТТМ "Эврика", впрочем, по слухам, без согласия Славы.

Однако существо дела, я убеждена, все же не в том, кто с кем сдружился или поссорился. Для зрителей проблема одна: Бутусов был звездой, обожаемой вполне оправданно. И как же больно наблюдать исчезновение кумира!

Слава не любит говорить о взаимоотношениях, о планах. По-моему, правильно (невыгодно для профессии журналиста, я, тем не менее, очень подозрительно отношусь к артистам, готовым за кулисами сказать больше, чем со сцены). Но есть ли "Наутилусу" сегодня что сказать с подмостков?

Уходят от электронной попсовости к жесткому року, вместо трех клавишных – гитары. Ладно. (Кстати, многие другие свердловские рок-группы выбрали чисто гитарный путь развития, лишь бы не повторять "Нау".) Вот только мнится в метаниях "Наутилуса" то ли случайность, то ли ненужная творчеству раздраженность прошлыми друзьями, а значит, и их музыкой...

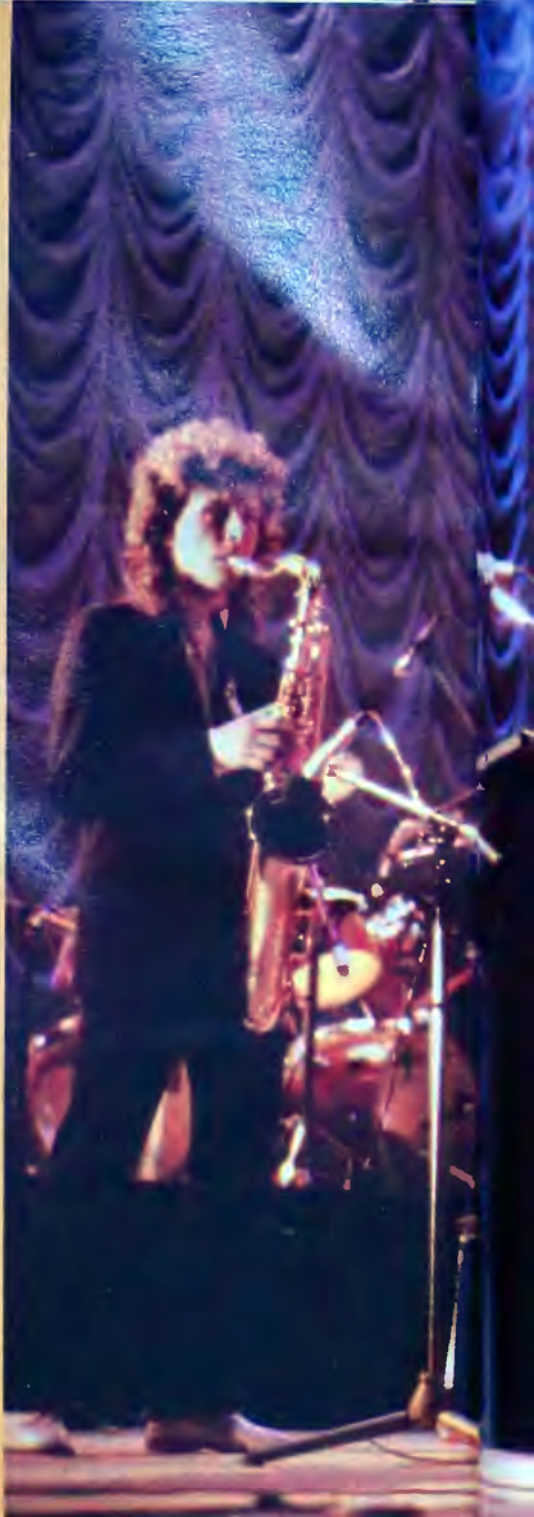
Недавно я разговаривала с эс-

тонским журналистом Николаем Мейнертом, который готовит книгу об "НП". Мейнерт точно сформулировал, в чем дефекты нынешней концертной практики. Нет, не в том, что концертов стало много, вполне официальных и хорошо оплачиваемых. Главная неудача в менеджерстве. Мы ликуем, если менеджер умеет "заделать" гастроли, уважаем его, если профессионально подтягивает группу. Но требуется "высший пилотаж" – поддерживать творческую атмосферу в коллективе, учитывать специфику характера каждого музыканта. Так нередко бывает в роке, что не техника игры, а именно сочетание личностей создает лицо группы. И тогда самые крутые башлевые зарубежные вояжи только на пользу.

А пока, на мой взгляд, какой-то бесхребетной становится поэзия большинства текстов "Нау", профессионального переводчика Ильи Кормильцева. Словно бы взгляд все больше со стороны, а не изнутри. Не надеюсь, будто творчеству Бутусова что-то прибавит долгожданная поездка в Штаты.

Претензии к "Нау" предъявляются по максимуму. Не из придирчивости, но потому, что эта группа однажды показала самоотдачу на пределе. И меньше зрители уже не примут.

Нина ТИХОНОВА,
Фото Дмитрия ЛОВКОВСКОГО



СОВЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК СССР

5 РУБЛЕЙ

5 РУБЛЕЙ

МГНОВЕННЫЙ ВЫИГРЫШ- 5, 15, 100, 500, 5000, 10000, 25000 РУБЛЕЙ!

ВСЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ЛОТЕРЕИ ПОЙДЁТ НА ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

ЦЕНА 80 КОП.
ИНДЕКС 70554